

Тони Моррисон

Самые голубые глаза

*Красотой можно
не просто
обладать, ее можно
еще и создать.*

18+

ЛУЧШЕЕ
ИЗ ЛУЧШЕГО
КНИГИ
ЛАУРЕАТОВ
МИРОВЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРЕМИЙ

Лучшее из лучшего. Книги лауреатов
мировых литературных премий

Тони Моррисон
Самые голубые глаза

«ЭКСМО»

1970

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Моррисон Т.

Самые голубые глаза / Т. Моррисон — «Эксмо»,
1970 — (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых
литературных премий)

ISBN 978-5-04-108294-9

В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского городка, где живет Пикола Бридлав, единственная мечта которой – голубые глаза. Красота – понятие относительное, но для Америки 40-х годов черной красоты не существует. Моррисон рассказывает сотканную из лоскутов трагедий, невежества, предрассудков историю чернокожей девочки, желающей одного – чтобы на нее взглянули по-другому. А еще – истории множества других людей: ее родителей, одноклассников, знакомых. Перед нами чередой проходят события, которые перевернули жизнь Пиколы навсегда. Есть книги, читать которые – больно. Но это боль исцеляющая, потому что о чем бы ни писала Моррисон, все ее книги – о любви.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-108294-9

© Моррисон Т., 1970

© Эксмо, 1970

Содержание

Осень	7
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Тони Моррисон

Самые голубые глаза

© Тогоева И., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

*Тем двоим, что дали мне жизнь, и тому единственному человеку,
который сделал меня свободной*

Вот их дом. Он зеленый с белым. А дверь красная. Он очень хорошенький. Вот семья, что живет в этом бело-зеленом домике. Мать, отец, Дик и Джейн. Они очень счастливы. Это Джейн. У нее красное платьице. Она хочет играть. Кто будет играть с Джейн? Это их кошка. Она мяукает. Иди сюда, поиграем. Иди, поиграй с Джейн. Но котенок играть не желает. Это мать. Она очень милая. Мама, ты поиграешь с Джейн? Мать смеется. Смейся, мама, смейся. Это отец. Он большой и сильный. Папа, ты поиграешь с Джейн? Отец улыбается. Улыбайся, папочка, улыбайся. Это их собака. Собака лает. Ты хочешь поиграть с Джейн? Видите, собака убегает. Беги, собака, беги. Смотрите, смотрите. Это идет один из друзей. Друг поиграет с Джейн. Они будут играть в хорошую игру. Играй, Джейн, играй.

Вот их дом он зеленый с белым а дверь красная он очень хорошенький вот семья что живет в этом бело-зеленом домике мать отец дик и джейн они очень счастливы это джейн у нее красное платьице она хочет играть кто будет играть с джейн это их кошка она мяукает иди сюда поиграем иди поиграй с джейн но котенок играть не желает это мать она очень милая мама ты поиграешь с джейн мать смеется смейся мама смейся это отец он большой и сильный папа ты поиграешь с джейн отец улыбается улыбайся папочка улыбайся это их собака собака лает ты хочешь поиграть с джейн видите собака убегает беги собака беги смотрите смотрите это идет один из друзей друг поиграет с джейн они будут играть в хорошую игру играй джейн играй

Вот их дом он зеленый с белым а дверь красная он очень хорошенький вот семья что живет в этом бело-зеленом домике мать отец дик и джейн они очень счастливы это джейн у нее красное платьице она хочет играть кто будет играть с джейн это их кошка она мяукает иди сюда поиграем иди поиграй с джейн но котенок играть не желает это мать она очень милая мама ты поиграешь с джейн мать смеется смейся мама смейся это отец он большой и сильный папа ты поиграешь с джейн отец улыбается улыбайся папочка улыбайся это их собака собака лает ты хочешь поиграть с джейн видите собака убегает беги собака беги смотрите смотрите это идет один из друзей друг поиграет с джейн они будут играть в хорошую игру играй джейн играй

Пока это так и осталось для нас тайной, но осенью 1941 года бархатцы ни у кого не цвели. Нам-то казалось, что у нас они не зацвели и даже не взошли, потому что Пикола была беременна от своего отца. Если бы мы провели самое пустяковое расследование и поменьше грустили, то поняли бы, что бархатцы не взошли не только у нас; ни в одном саду той осенью бархатцев не было. Даже в тех, что выходят к озеру. Но мы были настолько озабочены тем, чтобы Пикола благополучно родила здорового ребеночка, что ни о чем другом и думать не могли; и потом, мы были уверены в своей магии: если уж мы посадили семена и правильные слова над ними сказали, так они непременно должны были и взойти, и расцвести. И тогда все было бы хорошо. Лишь много времени спустя мы с сестрой догадались, что никаких всходов наши семена не дадут. И сразу принялись облеγχать собственное чувство вины в бесконечных спорах, взаимных обвинениях и попытках выяснить, кто же все-таки виноват. Много лет я считала, что моя сестра была права и это я совершила ошибку, посеяв семена слишком глубоко. Нам обеим даже в голову не приходило, что сама земля могла отказаться родить. Мы посеяли семена на нашем собственном клочке черной земли точно так же, как посеял свои семена у себя отец Пиколы. Наша невинность и вера оказались не более плодотворны,

чем его возжелание и отчаяние. Теперь ясно лишь одно: та надежда, вера, похоть, любовь и печаль ничего не дали; остались лишь Пикола да упрямо не желавшая плодоносить земля. Чолли Бريدлав умер; умерла и наша невинность. Наши семена, так и не взойдя, погибли в земле; погиб и ребенок Пиколы.

Тут и сказать-то на самом деле больше нечего – разве что «почему?». Но поскольку на этот вопрос ответить очень трудно, стоит, пожалуй, укрыться за словом «как».

Осень

Монахини проходят мимо, неслышные, как похоть, и пьяные мужчины с трезвыми глазами поют в лобби греческого отеля. Розмари Виллануччи, наша ближайшая соседка, – она живет над кафе, принадлежащем ее отцу, – сидит в «Бьюике» выпуска 1939 года и ест хлеб с маслом. Опустив окно, она высовывается и говорит нам, моей сестре Фриде и мне, что мы-то в машину сесть не можем. Мы смотрим на нее: нам тоже хочется хлеба с маслом, но еще больше нам хочется дать ей в глаз, чтобы вдребезги разнести эту наглую физиономию, на которой написана гордость собственницы, прямо-таки брызжащая из ее жующего рта. Ничего, пусть только вылезет из машины! Уж мы эту противную Розмари так поколотим, что вся ее белая кожа будет в красных отметинах, а сама она будет плакать и спрашивать, не надо ли, чтобы она сама свои штаны спустила. Мы гордо скажем «нет», хотя понятия не имеем, что должны почувствовать или сделать, если она действительно их спустит. Но, когда она у нас об этом спрашивает, мы все же понимаем: она предлагает нам нечто весьма ценное, а потому все подобные предложения гордо отвергаем.

Занятия в школе уже начались, и мы с Фридой получили новые коричневые чулки и пьем рыбий жир. Взрослые усталыми нервными голосами обсуждают дела угольной компании «Зик» и заставляют нас ходить вечером на железнодорожные пути, прихватив мешки из грубой дерюги, и собирать там мелкие куски угля. А когда мы возвращаемся домой, то, оглянувшись, видим, как в овраг, что тянется вокруг сталеплавильного завода, вываливают целые огромные вагоны огненно-красного дымящегося шлака. Сполохи неяркого тускло-оранжевого огня так и вспыхивают в небесах. Мы с Фридой тащимся позади всех и все оглядываемся на эту полосу оранжевого света, окруженную чернотой. И неизменно начинаем дрожать, когда наши босые ступни перестают чувствовать под собой гравиевую тропу и входят в заросли ледяной пожухлой травы на поле вокруг нашего дома.

Дом у нас старый, холодный, выкрашенный зеленой краской. По вечерам одну-единственную большую комнату освещает керосиновая лампа. В остальных помещениях царит тьма и шуршат тараканы и мыши. Взрослые с нами не разговаривают – они *дают нам указания*, которые, впрочем, никак не объясняют. Если мы споткнемся и упадем, они лишь с удивлением взглянут на нас; если кто-то из нас случайно порежется или сильно ушибется, они только спросят: «Вы что, спятили?» Когда мы простужаемся, они с негодованием качают головой, считая, что не заболеть у нас «попросту ума не хватило». Как, спрашивается, говорят они, можно что-то сделать, если вы все время валяетесь больные? Разумеется, на это мы ничего ответить не можем. Нашу болезнь лечат презрением, вонючим слабительным из александрийского листа и касторовым маслом, от которого у нас совсем тупеют мозги.

Как-то раз, на следующий день после похода за углем на железнодорожные пути, я довольно сильно закашлялась – бронхи у меня уже были напрочь забиты мокротой, – и мать, нахмурившись, велела: «О господи, полезай-ка снова в кровать! Сколько раз мне говорить, чтоб ты голову чем-нибудь покрыла? Да куда там, другой такой дуры во всем городе не сыщешь! Фрида, отыщи какую-нибудь тряпку да заткни щель в окне».

Фрида старательно затыкает оконную щель, а я снова тащусь к кровати, исполненная чувства вины и жалости к себе. В постель я ложусь, почти не раздеваясь, и металлические застежки на резинках для чулок больно врезаются мне в ноги, но снять чулки я не решаюсь – без них лежать слишком холодно; я и так с трудом ухитряюсь согреть себе крохотное местечко в форме собственного тела. А потом я даже шевельнуться боюсь, ибо уже в паре сантиметров от границ нагретого места начинается зона холода. Никто со мной не разговаривает, не спрашивает, как я себя чувствую. Но где-то через час или два мать все же подходит ко мне и своими большими грубыми руками начинает с силой растирать мне грудь жгучей мазью «Викс». Я

прямо-таки застываю от боли. Мать щедро зачерпывает мазь двумя пальцами и трет, трет мои несчастные ребра, пока я чуть ли сознание не теряю. И в тот самый момент, когда мне кажется, что я не выдержу и сорвусь в крик, мать подцепляет пальцем еще немного мази, сует мне в рот и требует, чтобы эту порцию я проглотила. Затем шею и грудь мне туго обматывают нагретой фланелью. Наваливают на меня несколько тяжелых одеял и велят потеть, что я немедленно и делаю.

А чуть позже меня выворачивает наизнанку, и мать недовольно ворчит: «Что ж ты прямо на простыни-то блюешь? У тебя что, совсем мозгов не осталось? Не могла голову с кровати свесить? Глянь, что натворила? Думаешь, мне делать больше нечего, кроме как твою блевотину отстирывать?»

Лужица рвоты сползает с подушки на серо-зеленую, с оранжевыми крапинками, простыню. Она переливается медленно, как недоваренное яйцо, которое упорно не желает расплзаться и пытается сохранить свою форму. Во всяком случае, эта масса явно не стремится быть поскорее убранной. Странно, думаю я, как это блевотине удастся выглядеть одновременно и такой аккуратной, и такой противной?

А мать нудным голосом все продолжает разговаривать, но не со мной, а с блевотиной, и почему-то называет ее моим именем: Клодия. Она тщательно вытирает мерзкую лужу и кладет на мокрое место, оказавшееся довольно-таки обширным, сухое колючее полотенце. Я снова ложусь. Тряпки уже снова вывалились из трещины в оконной раме, из окна дует, в комнате ужасно холодно. Но я не осмеливаюсь ни снова позвать мать, ни встать сама, покинув нагретое местечко. Материн гнев унижает меня; у меня даже щеки горят от ее слов, и я плачу, не понимая, что сердится мать не на меня, а на мою болезнь. Но мне кажется, что она презирает меня за слабость, за то, что я позволила болезни в меня пробраться. Ничего, вскоре я болеть перестану; попросту откажусь это делать! А пока что я плачу от собственного бессилия, хоть и знаю, что так сопли потекут еще сильнее, но остановиться все равно не могу.

Входит моя сестра. Глаза ее полны сострадания. Она поет: «Когда лиловым полумраком уснувший сад окутан и кто-то вспоминает обо мне в тиши...» Я задремываю, и мне снятся стены сада, сливы и этот «кто-то».

Но действительно ли все было именно так? Неужели и впрямь так болезненно, как мне помнится? Да нет, боль была несильной. Точнее, то была продуктивная и плодоносная боль. Густая и темная, как сироп «Алага», эта любовь-боль просачивалась в окно с потрескавшейся рамой. И я отчетливо чувствовала ее запах и вкус – она была сладка, но чуть отдавала плесенью и имела привкус зимней травы, повсюду прораставшей в цокольном этаже нашего дома. Она прилипала – как и мой язык – к оконному стеклу, поросшему инеем. Она грела мне грудь вместе с мазью «Викс», – а если я во сне ухитрялась размотать фланель, то силуэт этой любви очерчивали отчетливые острые прикосновения холодного воздуха к моему горлу.

И если среди ночи мой кашель становился сухим и особенно мучительным, эта любовь, мягко ступая, входила в комнату, и ее руки заново закрепляли фланель у меня на груди, поправляли одеяло и мимолетно касались моего горячего лба. Так что, думая об осени, я всегда представляю себе эти руки – руки той, которая не хотела, чтобы я умерла.

И мистер Генри появился тоже осенью. Наш жилец. *Наш жилец.*

Эти два слова воздушными шариками слетали с наших губ и парили над головой – безмолвные, отдельные и приятно-загадочные. Непринужденно обсуждая с приятельницами его прибытие, мать выглядела на редкость довольной.

– Вы ж его знаете, – говорила она. – Генри Вашингтон. Он еще с мисс Делией Джонс жил, там, на Тринадцатой улице. Но теперь-то она совсем ку-ку, куда ей за жильцом ухаживать. Вот он и стал себе другое место подыскивать.

– Ну да, ну да, – поддакивали ее подружки, не скрывая своего любопытства.

– Я все думала, сколько он еще у нее-то протянет, – заметила одна. – Говорят, она совсем умом тронулась. Уж и его зачастую не узнавала, да и многих других тоже.

– Это верно. Тот старый грязный негр, с которым она тогда сошлась, ее бедной головушке уж точно не помог.

– А слышали, что он людям-то рассказывал, когда ее бросил?

– Угу. Что?

– Так ведь сбежал-то он с той никудышной Пегги из Илирии. Ну да вы ее знаете.

– Неужто с одной из девчонок Старой Грязнули Бесси?

– Вот именно! В общем, кто-то у него спросил, с чего это он решил бросить такую хорошую женщину и добрую христианку, как Делия, ради этой телки. Всем ведь известно, что у Делии в доме всегда полный порядок был. А он и говорит; мол, Богом клянусь, но причина только в том, что ему больше не под силу выносить запах фиалковой воды, которой Делия вечно поливается. И прибавил: уж больно она, Делия Джонс, для меня чистая.

– Кобелина старый! Вот ведь гнусность какая!

– И не говори. Ишь, еще и причину выдумал!

– Да никакая это не причина. Кобель он – вот и все. Много их таких.

– Так с ней поэтому удар-то случился?

– Наверняка. Хотя у них в семье, как известно, ни одна из дочерей с юности крепким умом не отличалась.

– Ага, возьмите хоть Хэтти. Ну ту, что вечно улыбалась, помните? Уж она-то точно была с приветом. А их тетушка Джулия и до сих пор по Шестнадцатой улице туда-сюда бродит и сама с собой разговаривает.

– А разве ж ее не забрали?

– Не-а. Округ о ней заботиться не желает. Так и заявили: от нее, мол, никакого вреда нет.

– А по мне так есть! Коли захочешь до смерти перепугаться, чтоб из тебя разом все дерьмо вместе с мозгами выскочило, так встань утречком пораньше, в половине шестого, как я встаю, да посмотри, как эта старая карга мимо твоих окон в своем дурацком чепце проплывает. Господи, помилуй!

Женщины засмеялись.

Мы с Фридой были заняты мытьем банок, и слова женщин были нам почти не слышны, но к разговорам взрослых мы всегда старались прислушиваться и особенно следили за интонациями.

– Надеюсь, мне никто не позволит по улицам слоняться, как она, если я из ума выживу. Это ж позор какой!

– А с Делией-то как поступить собираются? Неужто у нее и родни никакой нет?

– Да вроде бы есть сестра, она из Северной Каролины приехать собирается, чтобы за Делией присматривать. Только, по-моему, она просто ее дом захватить хочет.

– Ох, да ладно тебе! Что это у тебя мысли все какие-то злые? Уж такие злые, прям на редкость.

– А давай поспорим? На что хочешь. Генри Вашингтон говорил, сестра эта к Делии уж лет пятнадцать и носа не казала.

– Я-то, честно сказать, думала, что Генри сам возьмет да и женится на ней.

– На этой старухе?

– Так ведь и Генри, небось, не цыпленочек.

– Не цыпленочек, да только и не канюк.

– А он вообще – был женат? Хоть на ком-нибудь?

– Нет.

– Как же это? Или ему кто дорогу перебежал?

– Просто чересчур разборчивый, видно.

– Да никакой он не разборчивый! Ты сама-то вокруг погляди – видишь хоть одну, на которой жениться можно?

– Пожалуй, что и нет.

– Вот именно. Просто он человек разумный. Спокойный. Работает себе. Да и вообще тихо себя ведет. Надеюсь, у тебя с ним все хорошо получится.

– И я так думаю. А ты сколько с него брать-то будешь?

– По пять долларов за две недели.

– Это тебе большая подмога выйдет.

– Там посмотрим.

Их разговор был похож на осторожный, но шаловливый танец: звуки как бы встречались друг с другом, приседали, колебались и снова отступали. Затем в круг входил еще один звук, но следующий, четвертый, его опережал, и эти двое тоже начинали кружить друг вокруг друга, а потом останавливались.

Иногда слова женщин словно завивались ввысь по спирали, а иногда двигались как бы резкими прыжками, и все их разговоры, точно знаками препинания, были разграничены теплым пульсирующим смехом, похожим на биение сердца и дрожащим, как желе. Острые края, резкие повороты, где и осуществлялся основной выброс их эмоций, мы с Фридой всегда сразу замечали, хоть и не понимали, да и не могли понять смысл всех сказанных ими слов, ведь одной из нас тогда было всего девять, а второй десять лет. Так что мы следили за их лицами, руками и даже за их ногами, стараясь уловить самое главное благодаря интонациям и самому тембру их голосов.

Так что, когда мистер Генри действительно появился у нас в субботу вечером, мы первым делом к нему принялись. Надо сказать, пахло от него замечательно. Слегка лимонным кремом для бритья и маслом для волос «Нью Нил», и эти запахи смешивались с пряным ароматом «Сен-Сен»¹.

Он много улыбался, показывая мелкие ровные зубы с дружелюбной, как привет из детства, щелочкой посредине. Нас с Фридой ему не представили – на нас просто указали. Примерно так: здесь у нас ванная, а это шкаф для одежды, а это мои дети, Фрида и Клодия; осторожней с этим окном – оно полностью не открывается.

Мы украдкой поглядывали на мистера Генри, но и сами помалкивали, и от него никаких слов не ждали. Мы думали, он просто кивнет, как когда ему показывали, в каком шкафу можно хранить одежду, в знак того, что признает наше существование, но, к нашему удивлению он вдруг с нами заговорил.

– Привет, привет! Ты, должно быть, Грета Гарбо, а ты Джинджер Роджерс². – Мы захихикали. Даже наш отец был настолько удивлен, что невольно улыбнулся. – Хотите пенни?

Он протянул нам блестящую монетку. Фрида смущенно потупилась; она была слишком довольна, чтобы с легкостью ответить. А я протянула руку и хотела взять пенни, но мистер Генри щелкнул большим и указательным пальцем, и пенни исчез. Этот фокус буквально потряс нас обеих и одновременно привел в восторг. Забыв об осторожности, мы принялись обыскивать мистера Генри; даже в носки ему пальцы совали и ощупывали подкладку его пальто. И если счастье – это предвкушение, смешанное с уверенностью, то мы были абсолютно счастливы. И пока мы обыскивали нашего гостя, ожидая, что монетка все-таки появится снова, мы чувствовали, что невольно развлекаем и своих родителей. Папа всю улыбался, да и у мамы взгляд помягчел, когда она смотрела, как наши ручонки шныряют по всему телу мистера Генри.

¹ Пастилки для освежения дыхания. – *Здесь и далее прим. пер.*

² Грета Гарбо (1905–1990) – знаменитая американская киноактриса, «звезда Голливуда» в амплуа загадочной, роковой женщины. Джинджер Роджерс (1911–1995) – американская актриса и танцовщица. Во многих фильмах ее партнером был знаменитый Фред Астер.

Мы в него сразу влюбились. И даже после того, что случилось позже, наши воспоминания о нем не были окрашены горечью.

* * *

Она спала с нами в одной постели. Фрида с краю, потому что она храбрая – ей никогда и в голову не приходило, что если во сне ее рука свесится с кровати, то в темноте может выползти «нечто» и откусить ей пальцы. Я у стенки, потому что мне подобные жуткие мысли часто в голову приходили. Ну и Пиколе, естественно, приходилось спать посередке.

За два дня до этого мама сказала нам, что есть, мол, некие «обстоятельства» – одной девочке жить негде, вот окружной суд и решил на несколько дней поселить ее у нас, а уж потом они решат, что с ней делать дальше, а может, тем временем и семья ее воссоединится. Нам велели обращаться с этой девочкой хорошо и ни в коем случае с ней не драться. Мама сказала, что просто не представляет себе, «что это с людьми происходит», ведь «этот старый кобель Бридлав» сжег собственный дом, чуть не уколошил жену, и в результате вся семья оказалась на улице.

Мы прекрасно знали, что *оказаться на улице* – это самое ужасное, хуже просто и быть не может. Кстати, угроза оказаться на улице в те времена возникала частенько. Ею сопровождалось любое, даже самое минимальное нарушение правил. Если кто-то слишком много ел, он вполне мог закончить свои дни под забором. На улице мог оказаться и тот, кто расходовал слишком много угля. К тому же могли привести и азартные игры или пьянство. А иной раз матери сами выставляли своих сыновей на улицу, и если такое случалось, то – вне зависимости от совершенного тем или иным сыном проступка – всеобщее сочувствие всегда было на его стороне. Он *оказался на улице*, и так поступила с ним родная мать! Если тебя выставил на улицу хозяин квартиры – это одно; это попросту невезение, но над этой стороной жизни у тебя власти нет, ибо ты не всегда можешь контролировать собственные доходы. Но уж дойти до такой расхлябанности, чтобы тебя выставили на улицу родные, или же проявить такую бессердечность, чтобы собственными руками выгнать из дома родного сына, – подобные вещи воспринимались почти как преступления.

Кстати, была большая разница между понятиями «быть изгнанным из дома» и «оказаться на улице». Если тебя *выгнали* из дома, ты можешь что-то предпринять, куда-то еще пойти; если же ты *оказался* на улице, тебе идти уже некуда. Разница трудноуловимая, но безусловная. *Оказаться на улице* – это конец, необратимый физический факт, определяющий и дополняющий наше метафизическое состояние. Будучи в меньшинстве, как в кастовом, так и в классовом отношении, мы в любом случае существовали где-то на краю жизни и изо всех сил старались консолидировать свои слабые силы и продержаться или поодиночке заползали куда-то повыше, в складки одеяния Высшего существа. Мы, впрочем, уже научились как-то выживать на периферии – возможно, потому, что «периферия» была понятием абстрактным. А вот понятие «оказаться на улице» было вполне конкретным и понятным – примерно таково было для нас, например, отличие концепции смертности от реальной возможности стать мертвым. Мертвые не меняются, а те, кто оказался на улице, так там и остаются.

Понимание того, что перспектива оказаться на улице вполне реальна, привело к тому, что мы постоянно испытывали жажду обладать чем-то, жажду владеть. Жажда твердой уверенности, что это наш двор, наше крыльцо, наша виноградная лоза. Имеющие собственность чернокожие готовы были тратить все свои силы, всю свою любовь на укрепление родного гнезда. Точно обезумевшие, доведенные до отчаяния птицы, они вечно суетились и буквально тряслись над своим жилищем, завоеванным ими с таким трудом; они чрезмерно украшали свои домишки; они все лето солили, мариновали и консервировали, чтобы заполнить рядами банок кладовые и полки на кухне; они то и дело что-то подкрашивали и подмазывали, не пропуская

ни единого уголка. Их *частные* дома высились, точно оранжерейные подсолнухи среди сорняков, ибо именно сорняком выглядело по сравнению с частным домом любое арендованное жилье. Чернокожие, вынужденные снимать квартиру, поглядывали украдкой на чьи-то *собственные* дворы и веранды и с каждым разом все тверже клялись себе, что когда-нибудь тоже непременно купят «какой-нибудь симпатичный старый домик». А пока старались приберечь и сэкономить каждый грош, обитая в своих арендованных норах, и не оставляли надежду, что вскоре все же наступит день, когда и они сумеют обзавестись настоящей собственностью.

Таким образом, Чолли Бридлав, будучи чернокожим, проживая в арендованной квартире и вынудив свою семью оказаться на улице, сам себя отбросил за пределы человеческого к нему отношения. Своим поступком он как бы приравнял себя к животным; да собственно, наши соседки и так называли его то «старым кобелем», то «ядовитой змеей», то «жалким ниггером». Миссис Бридлав стала жить у своей белой хозяйки, где и до этого вела всю домашнюю работу, мальчика Сэмми взяла к себе еще какая-то семья, а Пиколу поселили к нам. Сам же Чолли оказался в тюрьме.

У нас Пикола объявилась буквально с пустыми руками. Ни бумажного пакета со сменной одеждой, ни ночной рубашки, ни хотя бы выцветших хлопчатобумажных спортивных брюк. Она просто возникла на пороге в сопровождении какой-то белой женщины и сразу же села.

А впрочем, те несколько дней, что Пикола у нас гостила, жили мы очень весело. Мы с Фридой перестали драться и полностью сосредоточились на нашей новой подруге, очень стараясь, чтобы она не чувствовала себя выброшенной на улицу.

Почти сразу стало ясно, что Пикола определенно не намерена нами командовать, и мы тут же ее полюбили. Она смеялась, когда я кривлялась, как клоун, стараясь ее развеселить, и очень мило улыбалась, когда моя сестра совала ей что-нибудь вкусненькое.

– Хочешь печенья?

– Я даже не знаю...

Но Фрида все-таки принесла ей на блюдечке четыре крекера и налила молока в чашку с портретом Ширли Темпл³. Пикола медленно прихлебывала молоко, с любовью поглядывая на затертое и словно покрытое ямками лицо Ширли. Они с Фридой долго восторгались тем, какая Ширли Темпл классная. А я тихо злилась, потому что эту Ширли ненавидела. И не потому, что она была такая классная, а потому, что танцевала на экране с Боджанглзом⁴, который был для меня и другом, и дядей, и отцом и которому давно следовало бы послать эту Ширли куда подальше и посмеяться вместе со мной.

Но он никуда ее не посылал, а наслаждался обществом этой голубоглазой куколки и весело исполнял с ней очаровательный танец – естественно, она ведь была одной из тех белых девочек, у которых носки никогда не сползают под пятки. Так что я, окончательно разобидевшись, заявила: «А мне больше нравится Джейн Уизерс!»⁵ Фрида и Пикола озадаченно на меня посмотрели. Потом решили, видно, что на меня просто что-то нашло, и продолжили восхищаться потертой Ширли, словно подмигивавшей им с кружки.

Я, конечно, была младше их обеих – и Фриды, и Пиколы – и еще не достигла в своем психическом развитии того поворотного момента, который позволил бы и мне обожать Ширли. Так что пока я испытывала к ней лишь чистейшую ненависть. Но до этого мне довелось испытать еще более странное, прямо-таки пугающее чувство; и это была не просто ненависть ко всем Ширли Темпл на свете.

³ Ширли Темпл (1928–2014) – американская актриса; стала первым в истории кино ребенком-актером и получила в 1934 г. Молодежную награду Академии; наиболее известна своими детскими ролями в образе очаровательной голубоглазой кудряшки.

⁴ Билл (Боджанглз) Робинсон (1877–1949) – знаменитый чернокожий американский танцор-степист и актер первой половины XX века. Исполнял танцевальные номера в фильмах с участием Ширли Темпл.

⁵ Джейн Уизерс (р.1926) – актриса, в кино с трех лет, лауреат премии «Юный артист».

А началось все на Рождество, когда нам обычно дарили новых кукол. Самым лучшим, выбранным с особой любовью подарком считалась большая голубоглазая кукла, при виде которой взрослые всегда так цокали языком, что нетрудно было догадаться: с их точки зрения, эта кукла, безусловно, воплощает самое заветное желание любой маленькой девочки. Только насчет меня они ошибались: меня смущала и сама кукла, и то, как она выглядит. И потом, я просто не знала, как к ней относиться. Притворяться, что я ее мама? Но младенцы были мне совершенно не интересны; не интересовал меня, впрочем, и вопрос материнства. Мне были интересны только люди моего собственного возраста и размера, и у меня не вызывала ни малейшего энтузиазма перспектива даже в самом далеком будущем стать матерью. Материнство – это же почти старость! Во всяком случае, утешала я себя, это весьма отдаленная перспектива. Я довольно быстро поняла, чего от меня ожидают взрослые: я должна была прийти в восторг и тут же начать укачивать куклу, придумывать разные истории с ее участием, спать с ней в обнимку. На картинках в детских книжках вечно изображались маленькие девочки, спящие в кровати с любимой куклой. У них, правда, любимыми были тряпичные куклы, но мне таких не дарили; об этом и речи быть не могло. А сама я, признаюсь, испытывала к таким куклам прямо-таки физическое отвращение и втайне даже боялась их круглых тупых глаз, круглого, как лепешка, лица и волос цвета апельсиновых гусениц.

Но и «настоящие», не тряпичные, куклы, которые, как считали взрослые, должны были доставить мне огромное удовольствие, вполне успешно приводили к обратному результату. Если я все же брала такую куклу с собой в постель, ее твердые негнущиеся конечности словно отпихивали меня, а сама кукла царапала меня своими пухлыми, в ямочках, руками с отчетливо видимыми ноготками. Казалось, она тоже хочет сказать: «Я тебя тоже не люблю!» Поворачиваясь во сне, я то и дело натыкалась на ее холодную, как мертвая кость, голову. Спать с таким потенциально агрессивным партнером было неприятно и на редкость неудобно. Впрочем, и обниматься с этой куклой тоже радости было мало; особенно неприятным казалось прикосновение ее платья из жесткого накрахмаленного газа или хлопка, отделанного колючими кружевами. Эта кукла могла вызвать у меня только одно воодушевляющее желание: расчленив ее и посмотреть, из чего она сделана. Чтобы воочию убедиться, что же в ней вызывает всеобщую любовь. И потом, мне хотелось понять, в чем ее красота, почему других девочек она приводит в восторг, а мне ну ни капельки не нравится. Хотя, похоже, подобные чувства были свойственны лишь мне одной. Абсолютно все вокруг – и взрослые, и малышня, и девочки постарше (и о том же буквально кричали витрины магазинов, всевозможные журналы, газеты и рекламные щиты) – были убеждены, что для любой девочки нет дороже подарка, чем такая вот голубоглазая желтоволосая кукла с нежно-розовой кожей. «Ну вот, это тебе, – говорили мне взрослые. – Правда, красивая кукла? Если сегодня ты и правда хорошо себя вела, то можешь ее взять: это подарок». Я обводила пальцем ее лицо, удивляясь, как изящно, одним мазком, нарисованы у нее брови; ковыряла ногтем жемчужные зубки, торчавшие, точно клавиши пианино, между приоткрытыми губами, ярко-красными и изогнутыми, как «лук Амура»; трогала ее вздернутый носик; тыкала в стеклянные голубые глаза; накручивала на палец странные желтоватые волосы. Нет, полюбить ее я решительно не могла! Зато могла подолгу ее изучать, пытаюсь все же понять, что именно в ней называют «прелестным». Я могла по одному отламывать крошечные пальчики, откручивать плоские ступни, клоками выдирать волосы и, наконец, открутить голову – но на все эти издевательства несчастная безжизненная «красотка» реагировала одинаково: издавала жалобный звук, который, согласно всеобщему мнению, означал нежный зов «Мама!», но мне казался куда больше похожим на предсмертное блеяние ягненка или, точнее, на скрип ржавых петель на дверце нашего старого холодильника, когда пытаешься его, обледелый, открыть в середине июля.

Если я выковыривала у нее глаз, холодный, но сохраняющий все то же безнадежно тупое выражение, кукла опять жалобно блеяла: «А-а!» Можно было оторвать ей голову, вытряхнуть

из нее опилки, расплющить туловище о бронзовую кроватьную раму – и она опять издавала в точности такой же жалобный скрип. Когда от ударов по кроватиной раме расщеплялась затянута металлической сеткой спинка куклы, становился виден диск с шестью дырочками. Вот она, тайна ее «умения говорить»! Просто какой-то металлический кругляшок.

Взрослые, разумеется, тут же начинали хмуриться и возмущаться: «Ты-ничего-беречь-не умеешь! Вот-у-меня-никогда-в-жизни-не-было-такой-куклы-я-все-глаза-из-за-нее-выплакала-а-тебе-такую-красивую-куклу-подарили-и-ты-ее-в-ключья-разодрала-что-это-с-тобой-такое?»

Да, они ужасно сердились, эти взрослые! Хотя в их голосах сквозил не только гнев, но и совсем иные эмоции: слезы, грозившие смыть всю их высокомерную отчужденность, и давние страстные детские мечты, так и оставшиеся неудовлетворенными. Я и сама не понимала, почему ломаю эти куклы. Но всегда помнила, что никто ни разу не спросил у меня, какой подарок я бы хотела получить на Рождество. Если бы хоть кто-то из взрослых – из тех, кто был способен тогда исполнить почти любое мое желание, – отнесся ко мне с вниманием и попытался выяснить, чего же я на самом деле хочу, он бы узнал, что мне совсем не хочется ничем ни *владеть*, ни *обладать*. В Рождество мне, пожалуй, больше всего хотелось что-то *почувствовать*. И тогда правильный вопрос мог бы звучать так: «Дорогая Клодия, какие чувства ты хотела бы испытать на Рождество?» И я бы ответила: «Мне бы хотелось почувствовать, будто я сижу на скамеечке в кухне у бабушки, нашей Большой Мамы, а на коленях у меня лежит целая охапка сирени, и Большой Папа играет на скрипке только для меня одной». Да, именно так: низенькая скамеечка, сделанная специально для меня, малышки, ощущение полной безопасности, тепло бабушкиной кухни, аромат сирени, звуки музыки и в придачу – поскольку хорошо бы задействовать и остальные органы чувств – вкус и аромат персика.

Вместо этого я чувствовала кислый вкус и запах жестяных тарелок и чашек, почему-то используемых для чайных церемоний и вгонявших меня в тоску. Вместо этого я с отвращением взидала на очередное новое платье, непременно требовавшее ненавистного купания в эмалированной ванне, прежде чем мне разрешат его надеть. Вертась в ванне и не имея возможности ни поиграть, ни просто как следует помокнуть, потому что вода остывала как-то чересчур быстро, ни хотя бы насладиться собственной наготой, я успевала только смыть с себя слой мыльной пены, затекающей между ногами. За этим неизбежно следовало прикосновение колючего полотенца, ужасное, унижающее ощущение полного отсутствия грязи и раздражающе примитивное ощущение чистоты. С ног и лица исчезали чернильные пятна, исчезали все те соколовища, которые я сумела сотворить и собрать за день. И все это сменялось гусиной кожей.

Да, я уничтожала белых кукол-младенцев.

Но расчленение кукол – это еще не самое страшное. Куда страшнее то, что такие же позывы у меня возникали и при виде маленьких белых девочек. Равнодушие, с каким я могла бы порубить на куски их тела, было, пожалуй, даже хуже желания выяснить, наконец, что же у них внутри, выведать тайну тех чар, которыми они оплели всех вокруг, узнать, почему люди смотрят на них и вздыхают от восхищения, а на меня и не глядят. Ах, каким мягким и нежным становился брошенный вскользь взгляд той или иной чернокожей женщины, когда она сталкивалась с такой девочкой на улице; как ласково, с пылом собственниц, прижимали они к себе белых младенцев!

Если мне удавалось украдкой ущипнуть такого малыша, то он жмурился от боли и из его глаз начинали катиться самые настоящие слезы, да и сами глаза у него блестели совсем иначе, чем бессмысленные круглые глаза игрушечных младенцев, а плач ничуть не походил на скрип ржавых петель, ибо в нем слышалось самое настоящее страдание. Когда я поняла, как отвратительно совершаемое мной и полностью лишённое смысла насилие, я просто не знала, куда деваться от стыда. И самым лучшим убежищем оказалась любовь. Так осуществилась мета-

морфоza исходного садизма в вымышленную ненависть, а затем в обманную любовь. Это был маленький шагок к Ширли Темпл. Гораздо позже я в какой-то степени даже стала ее поклонницей; примерно тогда же я научилась радоваться ощущению чистоты, но, еще только учась этому, я уже понимала: это лишь чисто внешние улучшения, а отнюдь не путь к достижению совершенства.

* * *

«Три кварты молока. Еще вчера в леднике было три полных кварты, а сейчас что? Ни капли! Я ж не против: заходи на кухню, бери что хочешь, но целых три кварты молока! На кой черт кому-то могли понадобиться целых три кварты? Что с ними делать-то?»

Эти слова были явно адресованы Пиколе. Мы втроем – Пикола, Фрида и я – сидели наверху и слушали, как мать внизу, на кухне, чем-то гремит, сердясь из-за того, что Пикола умудрилась выпить столько молока. Мы-то знали: Пиколе просто очень нравится чашка с Ширли Темпл и она пользуется любой возможностью, чтобы выпить из этой чашки молока или хотя бы просто подержать ее в руках и полюбоваться прелестным личиком Ширли. Но маме было известно, что мы с Фридой молоко просто ненавидим, и она, должно быть, пришла к выводу, что три кварты молока Пикола выпила исключительно из жадности. Ну а нам, разумеется, «пререкаться» с матерью вовсе не хотелось. Мы вообще никогда первыми в разговор со взрослыми не вступали, стараясь лишь отвечать на их вопросы.

Вот и сейчас, стыдясь тех оскорблений, которые так и сыпались на голову нашей новой подруги, мы продолжали бездействовать и просто сидели, затаившись. Я ковыряла мозоль на ноге, Фрида обкусывала заусеницы, а Пикола молча водила пальцем по старым шрамам на коленке, склонив голову набок. Нас всегда раздражали и подавляли подобные гневные монологи матери, бесконечные, оскорбительные и безличные (никаких конкретных имен она никогда не называла – в ее монологах фигурировали просто «люди» или «некоторые»), а кое-какие ее едкие замечания мы обе и вовсе воспринимали на редкость болезненно. Мать могла часами вот так изливать душу, связывая один проступок «некоторых» с другим, пока не выплевывала наружу все наболевшее. Затем, наконец-то выговорившись, она принималась петь и пела уже до самого вечера. Однако до начала «певческого отделения» концерта должно было пройти немало времени. Приходилось сидеть и все это слушать, и в итоге от стыда у нас начинало сосать под ложечкой, а шея горела огнем, и мы, стараясь не смотреть друг на друга, хватались за что придется – кто за мозоль на ноге, а кто за заусеницы.

А до нас доносилось: «...Ну я просто не знаю, у меня что тут, ночлежка или приют какой? Пора мне, видно, перестать другим отдавать, надо и самой брать. Вряд ли мне на роду написано нищей помереть. А все ж таки дни свои я, небось, в приюте для бедняков закончу. И, похоже, ничто меня от этого не спасет. Тем более *некоторые* только и думают, как бы им меня поскорее в приют сплавить. Как будто у меня забот мало, так мне еще и лишний рот прокормить предлагают, а оно мне нужно? Да не больше, чем кошке боковые карманы! Мне бы своих прокормить да не дать их в приют отправить, так у меня еще кое-кто в доме завелся да за раз столько молока выпивает, словно прикончить меня собрался. Ну теперь-то я этому конец положу! Сил у меня пока что, слава богу, хватает, да и язык на месте. Нет уж, всему есть предел! А лишнего у меня в доме никогда не было. И как это *некоторые* ухитряются за раз три кварты молока вылакать? Разве Генри Форд может такое себе позволить? Это ж просто обпиться можно. Нет, я, конечно, всегда рада людям помочь, сделать все, что в моих силах. Этого никто, небось, отрицать не станет. Но *такое* я в своем доме терпеть не стану. Библия велит за своими детьми присматривать, а не только Богу молиться. А то *некоторые* вышвырнут детей из дома, как мусор какой, да тебе их подкинут, а сами своими делами занимаются. Разве ж хоть кто из *людей* заглянул к нам, чтоб убедиться, есть ли у *этого* ребенка кусок хлеба? Не-

ет, им, похоже, это неинтересно. Разок заглянули, увидели, что *у меня-то* всегда кусок хлеба найдется, чтоб ребенка накормить, – и только их и видели. Да что там говорить! А этот старый кобель Чолли уж два дня, как из тюрьмы вышел, а сюда и носа не кажет! Не больно-то ему интересно, жива его дочка или нет. Ведь вполне могла умереть, а он бы и не узнал ничего. Да и мать ее тоже хороша! Словно ей до девочки и дела нет. Нет, что ж это такое на свете творится, скажите на милость, добрые люди?»

Обычно, когда мама добиралась до Генри Форда и «некоторых», кому все равно, есть ли у нее самой кусок хлеба, это служило для нас сигналом, что пора уходить. Мы предпочитали пропустить следующую часть ее монолога – насчет Рузвельта и лагерей для уголовников.

На этот раз Фрида встала первой и стала потихоньку спускаться по лестнице; мы с Пиколой пошли за ней. Внизу мы по широкой дуге, стараясь держаться подальше от двери на кухню, выбрались на крыльцо и устроились на ступеньках – туда долетали лишь отдельные слова материнского нескончаемого монолога.

Унылая то была суббота. В доме пахло нафталиновыми шариками от моли, а из кухни тянуло тушеными овощами и горчицей. Субботы всегда вызывали у меня тоску и были связаны со всевозможными стычками из-за мытья с мылом. Вторыми по тоскливости были воскресные дни – с тесной накрахмаленной одеждой, каплями от кашля и бесконечными «не смейте», «да успокойтесь же, наконец!» и «сидите тихо».

Хотя, если у матери возникало желание попеть, было все-таки не так скучно. Она пела о тяжелых временах, о плохих временах и о тех временах, когда кто-то «кое-что натворил и сбежал, а меня оставил». Но голос ее звучал так красиво, а глаза смотрели так нежно и ласково, что я невольно начинала мечтать, чтобы снова наступили «тяжелые времена», чтобы я стала взрослой, но «даже жалкого гро-о-ша за душой не имела». Я мечтала о том чудесном будущем, когда и меня «мой мужчина оставит», когда и мне «ненавистны станут эти закаты...», потому что именно на закате дня «мой мужчина наш город покинул». Описываемые в песнях страдания, окрашенные голосом моей матери в цвета нежности и тихой грусти, словно лишались своей горечи, и я все сильнее убеждалась, что страдания эти не только вполне терпимы, но и не лишены определенной сладости.

Если песен не было, то субботы обрушивались нам на голову точно ведра с углем, с которыми мы совершали свои опасные походы вдоль железнодорожных путей, а уж когда мама была не в духе, как сейчас, то казалось, будто кто-то швыряет камнями в наше ведро с углем.

«...а ведь и я нищая, как миска с таким. За кого *эти люди* меня принимают? Они что, думают, я навроде Сэнди Клауса? Ну так пусть снимают свои рождественские чулки, потому что сейчас никакое не Рождество...»

Мы нервно завозились на крыльце, и Фрида сказала:

– Ну что, давайте что-нибудь делать?

– А что ты хочешь делать? – спросила я.

– Не знаю. Ничего. – И Фрида уставилась куда-то на верхушки деревьев.

Пикола по-прежнему сидела, потупившись, и изучала собственные ступни.

– Может, нам подняться в комнату мистера Генри и посмотреть его журналы с девушками? – предложила я, и Фрида тут же скорчила мне рожу. Она не любила рассматривать «грязные картинки».

– Ну, тогда, – продолжала я, – можно посмотреть его Библию. Она красивенькая.

Фрида втянула воздух между зубами и издала презрительное «пф-ф-ф».

– Ну, тогда можно пойти к той подслеповатой тетеньке и вдевать для нее нитку в иглоку.

Она нам пенни даст.

Фрида фыркнула и сказала:

– Да у нее глаза как сопля! Мне на них даже смотреть противно. А ты, Пикола, чем хочешь заняться?

– Мне все равно, – ответила Пикола. – Чем хотите.

И тут у меня появилась новая идея:

– Можно пройти чуть дальше по нашей улице и покопаться в мусорных баках.

– Слишком холодно, – тут же возразила Фрида. Она вообще была какая-то сердитая, раздраженная.

– Я придумала: можно пойти и сварить сахарную помадку!

– Ты что? Ведь на кухне мама, да еще в таком настроении! Сама ведь знаешь: уж если она из-за какой-то ерунды на стенку полезла, значит, это на весь день. Да и не пустит она нас на кухню.

– Тогда давайте пойдем к греческому отелю и послушаем, какими неприличными словами они там ругаются.

– Ну и кому это надо? – скривилась Фрида. – Да и слова-то у них все одни и те же.

Исчерпав весь свой запас предложений, я сосредоточилась на белых пятнышках, проступавших у меня на ногтях. Считалось, сколько у тебя белых пятнышек, столько и ухажеров будет. Я насчитала семь.

Мамин бесконечный монолог временно сменился тишиной, потом до нас снова донеслось: «...а в Библии говорится: накорми голодного. Что ж, это хорошо. Правильно. Я готова, так ведь не слона же, верно? А *некоторые*, кому каждый день три кварты молока подавай, пусть другое место ищут. Не туда они попали. Что у меня здесь, молочная ферма, что ли?..»

Пикола вдруг резко вскочила и выпрямилась, как штырь. Потом с вытаращенными от ужаса глазами испустила жалобный стон. Фрида тоже вскочила:

– Что с тобой?

И мы дружно посмотрели туда, куда неотрывно смотрела сама Пикола. Все ноги у нее были в крови, кровь по ним так и струилась. И на ступеньке уже собралась лужица крови. Я подскочила к ней.

– Ты что, порезалась? Смотри, у тебя все платье сзади перепачкано!

На попе у Пиколы расплылось большое красно-коричневое пятно. Сама она по-прежнему стояла неподвижно, широко расставив ноги и тоненько подвывая.

– О господи! – сказала Фрида. – Я поняла! Я знаю, что это такое!

– Что? – Пикола в ужасе прижала пальцы к губам.

– Это администрация!

– А что это?

– Сама знаешь.

– Я что, умру? – дрожащим голосом спросила Пикола.

– Да не-е-ет. Не умрешь. Просто у тебя теперь может быть ребенок!

– Как это?

– Откуда ты знаешь? – Меня просто тошнило от этой всезнайки Фриды!

– Мне Милдред рассказывала, и мама тоже.

– Я тебе не верю!

– Да и не верь, тупица! Слушайте, подождите-ка вы меня здесь. Ты, Пикола, сядь вот сюда и сиди. – Фрида выглядела на редкость авторитетной и деловой. – А ты, – велела она мне, – пока за водой сходи.

– Вода-то зачем?

– Давай-давай! Ты что, совсем дура? Не знаешь, зачем вода? Да смотри: тихо, иначе мама услышит.

Пикола послушно уселась, но смотрела, пожалуй, уже не так испуганно. Я потащилась на кухню.

– Тебе чего, девочка? – Мать прямо в раковине стирала кухонные занавески.

– Мне водички, мэм.

– И вода тебе, конечно, понадобилась именно тогда, когда я тут делом занята. Ладно, возьми стакан. Нет, чистый не бери. Возьми лучше вон ту банку. – Я взяла банку и набрала в нее воды из-под крана. Вода почему-то текла страшно медленно, а может, мне так показалось. – Вот ведь интересно: никому ничего не надо, но как только *некоторые* увидят, что у меня раковина занята, так тут им всем сразу воды из-под крана подавай... – Наконец банка наполнилась, и я попыталась дать задний ход, но мать не дала мне выбраться из кухни: – Ты куда это?

– На улицу.

– Пей прямо здесь!

– Да не разобью я твою банку!

– Кто тебя знает?

– Да уж я знаю, мэм, знаю! Ну, мам, можно, я эту банку на улицу вынесу? Я, честное слово, ничего не пролью и не разобью.

– Ну, смотри...

Когда я с полной банкой выскочила на крыльцо, Пикола сидела и плакала.

– Ты почему плачешь? Тебе что, больно?

Она покачала головой.

– Тогда перестань сопلي развешивать!

Из задней двери вынырнула Фрида. Она явно что-то прятала под кофтой. Увидев меня, она удивленно спросила, ткнув пальцем в банку:

– Это еще что?

– Ты же сама сказала: принеси воды.

– Ну не в баночке же, тупица! Чтобы ступеньки отмыть, много воды нужно.

– Откуда мне знать, что ты крыльцо мыть собираешься?

– Оттуда! Нет, ты все-таки полная тупица. Идем. – Она потянула Пиколу за руку. – Идем-идем. Вон туда, за дом. – И они направились в густые кусты за углом.

– Эй, а как же я? – возмутилась я. – Я тоже с вами хочу!

– Да заткнись ты – мама услышит! – театральным шепотом прошипела Фрида. – Лучше пока ступеньки вымой.

И они исчезли за углом.

Это что же, опять придется пропустить что-то важное? Сколько же можно! Почему всегда именно я должна быть последней? Почему я должна торчать в заднем ряду, где ничего не видно? Я вылила воду на испачканную ступеньку, быстренько размазала лужу башмаком и бегом бросилась догонять девочек.

В кустах Фрида опустилась на колени и принялась стаскивать с Пиколы штанишки; рядом на земле лежал белый прямоугольный хлопчатобумажный лоскут.

– Ну же, подними ногу! Подними и просто переступи через них.

Наконец у нее все получилось, и она швырнула грязные штаны мне.

– Возьми-ка.

– И что мне с ними делать?

– В землю закопай, тупица.

Фрида велела Пиколе зажать свернутую в несколько рядов тряпицу между ногами, и я, разумеется, тут же спросила:

– Как же она теперь ходить-то будет?

Но Фрида даже ответом меня не удостоила. Молча отцепила от собственного подола две английские булавки и принялась прикалывать тряпицу к платью Пиколы.

А я, двумя пальцами подняв испачканные штанишки, озиралась в поисках подходящего орудия, чтобы выкопать ямку, и тут мое внимание привлекли непонятные шорохи в кустах. Я мгновенно повернулась в ту сторону и заметила среди листы два блестящих от любопытства глаза и белое, как недопеченная оладья, лицо Розмари. Значит, эта противная девчонка за

нами следила! Я мгновенно цапнула ее за нос и, по-моему, даже слегка его оцарапала. Розмари ойкнула, отскочила в сторону и заверещала:

– Миссис Мактир! Миссис Мактир! А Фрида и Клодия в грязные игры играют! Миссис Мактир!

Мама открыла окно и посмотрела на нас сверху:

– Что тут еще?

– Они в грязные игры играют, миссис Мактир! Сами посмотрите. А Клодия меня ударила, потому что я их заметила!

Мама с грохотом захлопнула окно и через мгновение вылетела из задней двери во двор.

– Чем это вы тут занимаетесь? Всякими гадостями, да? – Она нырнула в заросли, сломав по дороге прут. – По мне так лучше свиней выращивать, чем таких мерзких девчонок. Свиней хоть зарезать можно!

Мы дружно завизжали:

– Нет, мама! Нет, мэм! Ни в какие грязные игры мы не играем! Все она врет! Нет, мэм! Правда, мам, не играли! Нет, мэм! Нет!

Мама схватила Фриду за плечо, повернула ее кругом и раза три-четыре больно стегнула по ногам.

– Хочешь стать уличной девкой, да? Ну так станешь!

Фрида выглядела совершенно уничтоженной. Незаслуженные удары хлыстом были не только болезненными, но и оскорбительными.

Но мама уже повернулась к Пиколу:

– Ты сейчас тоже получишь! – пригрозила она. – И наплевать, мой ты ребенок или не мой! – Она схватила Пиколу, резко ее развернула, и тут спасительная булавка отстегнулась и из-под платья выползла окровавленная тряпица. Мама растерянно заморгала глазами, хлыст в ее руке так и застыл. – Какого черта? Что тут происходит?

Фрида зарыдала. Я, уже готовившаяся в свою очередь принять наказание, принялась торопливо объяснять:

– У нее кровь сильно текла. Мы просто хотели кровь остановить!

Мама повернулась к Фриде в поисках подтверждения, и та кивнула:

– Ну да, у нее министриация. А мы ей просто помочь хотели.

Мама тут же отпустила Пиколу и некоторое время молча смотрела на нее. Затем она при-тянула ее и Фриду к себе, прижимая их головы к своему животу. Глаза у нее были виноватые.

– Ну, хорошо, хорошо. Ну, довольно плакать. Я же не знала. Ну, хватит, хватит. Идемте-ка в дом. И ты, Розмари, тоже домой ступай. Концерт окончен.

Мы потащились в дом – всхлипывающая Фрида, Пикола с белым хвостом, торчащим из-под платья, и я с перепачканными штанишками этой девочки-ставшей-женщиной в руках.

Мама сразу затолкнула Пиколу в ванную, забрала у меня ее штаны и закрыла за собой дверь. Было слышно, как плещет льющаяся в ванну вода.

– Как ты думаешь, может, она ее утопить решила?

– Ну и дура ты, Клодия! Она просто хочет ее вымыть и одежды ее выстирать.

– Может, нам тогда Розмари побить?

– Нет. Оставь ее в покое.

Шум льющейся воды стал еще сильнее, но он не мог заглушить чудесную музыку мамин-ного смеха.

Той ночью мы лежали в постели очень тихо, почти неподвижно, исполненные благого-вейного трепета: у Пиколы была самая настоящая министриация! Она казалась нам очень взрос-лой и почти святой. Пикола, видно, и сама чувствовала нечто подобное, но командовать нами

все равно не собиралась, несмотря на то что заняла в нашей компании куда более высокое положение.

Она довольно долго лежала молча, потом очень тихо спросила:

– А что, я теперь взаправду могу ребеночка родить?

– Конечно, можешь, – сонным голосом откликнулась Фрида. – Еще бы.

– Но... как? – Пикола, похоже, была настолько потрясена, что голос ее не слушался и звучал невыразительно.

– Ой, ну для начала тебя кто-то полюбить должен, – сказала Фрида.

– Ах так...

И Пикола снова надолго замолчала, обдумывая ответ Фриды. Я тоже размышляла на эту тему. Мне казалось, что в этом наверняка должен будет участвовать некий «мой мужчина», который, прежде чем меня оставить, меня полюбит. Но ни о каких младенцах в материнских песнях и речи не было. Может, поэтому женщины, о которых пела мама, и были такими грустными? Наверное, мужчины оставляли их раньше, чем они успевали родить ребеночка.

И тут Пикола задала вопрос, который мне никогда и в голову не приходил:

– А как это сделать? Ну, то есть, как сделать, чтобы тебя кто-то полюбил?

Но Фрида не ответила: она уже спала. А я ответа на этот вопрос не знала.

ВОТИХДОМОНЗЕЛЕНЫЙСБЕЛЫМ
АДВЕРЬКРАСНАЯОНОЧЕНЬХОРОШЕНЬКИЙ
ОЧЕНЬХОРОШЕНЬКИЙОЧЕНЬХОРОШЕНЬ
КИЙХОРОШЕНЬКИЙХОРОШЕНЬ

В юго-восточной части города Лорейн, штат Огайо, где Бродвей пересекается с Тридцать пятой улицей, есть заброшенный склад. Его здание не сливается ни с висящим над ним свинцовым небом, ни с серыми щитовыми домиками, стоящими вокруг, ни с черными телефонными столбами. Наоборот, он скорее бросится прохожему в глаза своим раздражающим и одновременно чрезвычайно унылым видом. Приезжие, попав в наш небольшой городок, всегда удивляются, почему такой ужасный дом до сих пор не снесли, а местные, особенно живущие по соседству, попросту отворачиваются, проходя мимо него. Одно время на первом этаже этого дома размещалась пиццерия, и возле нее вечно слонялись подростки, кучками скапливавшиеся на углу.

Эти юнцы собирались там, чтобы похвастать своей сексуальной мощью, выкурить сигарету и придумать какую-нибудь не слишком дерзкую выходку. Сигаретный дым они старались вдохнуть как можно глубже, чтобы он заполнил их легкие, заставил сердце биться быстрее и помог справиться с дрожью в бедрах и удержать на крючке бьющую через край энергию юности. Двигались и смеялись они с нарочитой медлительностью, зато пепел с сигарет стряхивали чересчур быстро и часто, чем вызывали насмешки тех, кто уже не был новичком в курении. Впрочем, задолго до того, как подростки стали курить на углу, красуясь друг перед другом, здание бывшего склада арендовал скромный булочник-венгр, славившийся среди местных своими бриошами и рогалями с маком.

До этого там был самый настоящий офис по торговле недвижимостью, а еще раньше здание прибрали к рукам какие-то цыгане, используя его как основную базу для своих темных делишек. Именно благодаря этой цыганской семье большая зеркальная витрина и приобрела вполне определенный характер, чего впоследствии никогда больше не наблюдалось. Витрину увешали бархатными шторами и восточными коврами, и среди них по очереди сидели цыганские девушки и смотрели на улицу. Время от времени они улыбались, подмигивали или кивали кому-то из прохожих, но в основном просто сидели и смотрели, и та нагота, что отчетливо виднелась в их глазах, была тщательно скрыта весьма прихотливыми нарядами с длинными рукавами и юбкой в пол.

Жители квартала сменялись так быстро, что теперь, наверное, никто уже и не помнил, что еще раньше, до цыганской семьи, до булочника, до собиравшихся стайками подростков, там, в передней части склада, проживало семейство Бридлав, по прихоти риелтора вынужденное гнездиться, а точнее мучиться, всем скопом в одной комнате. В эту неуютную коробку со стенами цвета бурой картофельной шелухи они входили и выходили, ничем не тревожа ни своих соседей, ни комиссию по трудоустройству, а в офисе мэра о них, по-моему, и вовсе известно не было. Каждый член этого семейства обитал как бы в собственной скорлупе, создавая собственный рисунок на лоскутном одеяле окружавшей его действительности и собирая по кусочкам необходимый опыт и необходимую информацию. Из крошечных впечатлений, словно подобранных друг у друга, они старались создать некую видимость семьи и всеми силами ее поддерживать; и они действительно как-то уживались, несмотря на все различия.

План жилого помещения в бывшем складе был столь же лишен воображения, сколь его лишен был и хозяин здания, грек, первый из нескольких поколений местных греческих землевладельцев. Большая «складская», или «магазинная», территория была разделена пополам тонкой дощатой перегородкой, не доходившей до потолка. В одной части находилась гостиная, которую семейство Бридлав почему-то называло «передней», а во второй была спальня, в которой, собственно, и проходила основная жизнь. В передней комнате стояли два дивана, пианино и маленькая искусственная елка, украшенная к Рождеству и покрытая слоем пыли, поскольку торчала там по крайней мере года два. В спальне было три кровати: две узкие железные койки для четырнадцатилетнего Сэмми и одиннадцатилетней Пиколы и большая двуспальная кровать для Чолли и миссис Бридлав. Посреди комнаты возвышалась угольная печка, обеспечивавшая относительно равномерное распределение тепла. Вдоль стен стояли чемоданы, стулья, узкий боковой столик и фанерный гардероб. Кухня находилась в отдельном помещении на задах самой квартирки. Ванной не было вообще. Имелся только унитаз, спрятанный в укромном местечке и незаметный для глаз, но не для ушей.

Собственно, о мебелировке этой квартиры больше и сказать нечего. Все имевшиеся там вещи были абсолютно безликими, поскольку их создали, привезли и продали те, кто пребывал в различных состояниях жадности, равнодушия и невнимательности. Эта мебель успела состариться, так ни для кого и не став привычной. Люди владели ею, не понимая и не чувствуя ее. Здесь никто никогда не терял монетку или брошку, которые могли бы завалиться между подушками дивана, а человек потом с удивлением вспоминал, как потерял или нашел утраченную вещь. Здесь никто никогда, щелкнув пальцами, не восклицал: «Ну надо же, она ведь только что была на мне! Я сидела там и разговаривала с...» или: «Да вот же она! Должно быть, завалилась за подушку, пока я ребенка кормила!» Ни на одной из этих железных кроватей никто никогда не рожал, и никто никогда не вспоминал с любовью, как рожденный здесь малыш отрывал куски жутких обоев цвета картофельных очистков, когда стал вставать и учиться ходить. Здесь никто никогда не вспоминал, как шустрые детишки прилепляли под столешницу комки жвачки.

И никогда подвыпивший друг семьи, какой-нибудь толстяк с мощной шеей, неженатый и прожорливый, – господи, если бы вы только знали, сколько он ест! – не садился здесь за фортепьяно, чтобы сыграть «Ты мое солнышко». И ни одна девочка, глядя на рождественскую елочку, не вспоминала, как и когда она ее украшала, и не удивлялась, удержится ли на ветке голубой шарик, и не ждала, чтобы снова пришел ОН и посмотрел, как красиво она развесила игрушки.

Нет, среди этих предметов не сохранилось никаких воспоминаний, и уж тем более таких, которые полагалось лелеять. Иногда, правда, тот или иной предмет вызывал некую физическую реакцию – вроде изжоги или испарины на шее, – если вдруг приходили на память обстоятельства, связанные с его появлением здесь. Диван, например, был куплен новым, но обивка успела расползтись – и как раз поперек спинки – уже к моменту доставки, а магазин брать на себя

ответственность за это не пожелал... «Послушай, приятель, с ним же все было о'кей, когда его в кузов ставили. А раз уж мебель в грузовик погрузили, магазин за нее никакой ответственности не несет...» Изо рта продавца пахло листерином и сигаретами «Лаки Страйк». «Но я-то диван новым покупал! Зачем мне драный?» У покупателя умоляющий взгляд и окаменевшие от страха яички. «М-да, дела у тебя, приятель, полное дерьмо, скажу я тебе. Полное дерьмо...»

Купленный диван с порванной обивкой вы, конечно, можете возненавидеть – то есть, если вы вообще способны возненавидеть диван, – но ваши переживания никакого значения не имеют. Вам по-прежнему придется отдавать за него по четыре доллара восемьдесят центов в месяц. А когда приходится отдавать по четыре доллара восемьдесят центов в месяц за диван, у которого на спинке с самого начала дыра, что к тому же крайне обидно и унижительно, то какая уж тут радость от подобной покупки. Всем известно, что отвратительный запах всеобщей безрадостности способен пропитать все вокруг. Именно она, эта вонючая безрадостность бытия, мешает вам заново покрасить дощатую перегородку; мешает купить подходящий кусок материи и обить кресло; мешает зашить пресловутую прореху на спинке дивана, и прореха со временем превращается в большую дыру, а та – в зияющую пропасть, и на дне этой пропасти виднеется дешевая рама и еще более дешевая ткань, которой обтянута задняя стенка дивана. Когда спишь на таком диване, то и выспаться как следует не можешь. А если занимаешься на нем любовью, то все время чего-то опасаясь, делаешь все как бы украдкой. Рванный диван в доме – словно больной зуб, который не желает страдать в одиночестве и старается распространить свою боль на все прочие части тела, делая дыхание затрудненным, зрение ограниченным, а нервы беспокойными. Подобное воздействие на все вокруг оказывает и любой ненавидимый предмет мебели, исподтишка создавая всевозможные неудобства и всячески ограничивая удовольствие, получаемое от иных вещей, с данным предметом мебели никак не связанных.

Единственной живой вещью в доме Бридлахов была угольная печь, жившая своей жизнью, не зависящей ни от других вещей, ни от людей; огонь в ней «горел», «не горел» или «был притушен» в зависимости от ее собственных желаний, хотя именно это семейство кормило ее углем и знало все особенности ее «диеты»: насыпать уголь понемножку, не уплотнять его и не переполнять топку... Огонь в печи, казалось, жил, спал или умирал в соответствии с собственными планами и намерениями. По утрам, впрочем, ему почему-то почти всегда хотелось умереть.

ВОТ СЕМЬЯ ЧТО ЖИВЕТ В ЭТОМ БЕЛОЗЕЛЕНОМ ДОМИКЕ МАТЬ ОТЕЦ ДИКИ И ДЖЕЙНО И ОЧЕНЬ СЧА

Семейство Бридлав проживало в передней части складского помещения вовсе не потому, что у них возникли временные трудности, связанные с сокращениями на фабрике. Они поселились там, потому что были бедные и чернокожие, а оставались – потому что считали себя безобразными. Хотя их бедность была вполне традиционной и точно так же, как у всех, сводила на нет все результаты их трудов. Во всяком случае, их бедность никому не казалась ни смешной, ни уникальной. А вот их некрасивость и впрямь была поразительной. Точнее, их общее безобразие. Да они и сами были уверены, что являются образцом безжалостно-агрессивного безобразия. За исключением отца семейства, Чолли, чье безобразие (следствие отчаяния, беспутства и насилия, направленного на мелкие предметы и слабых людей) превратилось в манеру поведения, все остальные члены семьи – миссис Бридлав, Сэмми Бридлав и Пикола Бридлав – просто носили свое безобразие как платье, хотя их неотъемлемой чертой оно не являлось. У них были маленькие глазки, поставленные очень близко, чуть ли не рядом, низко нависающие лбы. Линия роста волос на лбу тоже была очень низкой и казалась какой-то особенно неровной и неопрятной по контрасту с очень прямыми тяжелыми бровями, почти смыкавшимися на переносице. Носы у всех Бридлахов были довольно тонкие, но крючковатые,

с нагло открытыми ноздрями. Скулы высокие, а уши настолько оттопыренные, что казались повернутыми вперед. Хорошей формы губы привлекали внимание не столько к себе, сколько к остальному лицу, ибо очень на нем выделялись. Бывало, смотришь на это семейство и удивляешься: ну почему они все такие безобразные? А потом приглядишься – и тебе уже кажется, что причины для подобного утверждения вовсе и нет. Вот тогда ты и начинаешь понимать: все дело в том, что они сами убеждены в своей уродливости. Такое ощущение, будто некий повелитель, таинственный и всезнающий, вручил каждому из них этакий «плащ безобразия» и велел носить, не снимая. И они безропотно его приказу подчинились. А он еще и припечатал их словами: «Вы же все такие уроды!» Они огляделись и поняли, что возразить им нечего, что собственное безобразие и впрямь глядит на них из каждой витрины, с каждого киноэкрана, из глаз каждого прохожего. И, сказав со вздохом: «Да, он прав», они накинули на плечи выданные им «плащи безобразия» и пошли в них по миру. Но каждый обращался с этим плащом по-своему. Миссис Бридлав, например, воспринимала его как театральный реквизит, используемый, чтобы подчеркнуть характер того персонажа, который она для себя выбрала, – роль этакой мученицы. Сэмми использовал свой «плащ безобразия» как оружие, желая причинить боль другим людям. Он и поведение свое в целом к этому приспособил, и друзей себе выбирал по тому же принципу: таких, кого всяческое безобразие очаровывало или сбивало с толку. Ну а Пикола под своим «плащом» просто пряталась. Пряталась, как прячутся под маской, под вуалью, под покрывалом, и лишь изредка выглядывала из-под своей «паранджи», а потом почти сразу же возвращалась в укрытие.

И вот октябрьским субботним утром члены семейства Бридлав один за другим начали потихоньку выползать из своих сновидений о богатстве, о мести за убогую жизнь и вновь погружаться в безликую нищету своего жилища, устроенного в передней части бывшего склада.

* * *

Миссис Бридлав, бесшумно выскользнув из постели, надела свитер прямо на ночную сорочку (которая когда-то была полноценным дневным платьем) и направилась на кухню, громко топая по линолеуму здоровой ногой; вторая ее нога, искалеченная в раннем детстве, пришепетывала в такт, легко касаясь линолеума. На кухне миссис Бридлав тут же принялась греметь дверцами, кранами и сковородками. Шум она, правда, подняла вполне терпимый, однако угрозы вызвала весьма громогласные. Услышав их, Пикола открыла глаза и замерла, уставившись на холодную угольную печку. Выразив свое недовольство, Чолли еще что-то пробормотал невнятно, повозился в кровати и снова затих.

Пикола через всю комнату чувствовала исходивший от отца запах виски. Тем временем грохот на кухне стал громче и отчетливее. В нем явно чувствовалась некая направленность и цель, но к приготовлению завтрака все это никакого отношения не имело. Понимание того, что мать неспроста так разбушевалась, было для Пиколы подкреплено многочисленными свидетельствами прошлого, и она даже живот втянула, стараясь дышать как можно тише.

Дело в том, что Чолли накануне пришел домой вусмерть пьяным. К сожалению, он был настолько пьян, что даже скандал устроить оказался не в состоянии, и теперь скандалом грозило сегодняшнее утро. А поскольку спонтанного сражения не получилось, нынешнее будет излишне рассчитанным, лишенным вдохновения, а значит, поистине ужасным.

Миссис Бридлав быстро вошла в комнату и остановилась у изножья кровати, на которой лежал Чолли.

– В этом доме хоть кто-нибудь способен принести кусок угля? – грозно спросила она, но Чолли даже не пошевелился. – Ты меня слышишь?

Миссис Бридлав дернула Чолли за ногу. Он медленно открыл глаза и уставился на нее. Глаза у Чолли были красные, угрожающие. Безусловно, самые страшные глаза в городе.

– У-у-у, женщина!

– Я сказала, что мне уголь нужен. В доме холодно, как у ведьмы в титках. Твоей-то пропитанной виски заднице и адский огонь нипочем. А я замерзла. Я много чего сделать собираюсь, но мерзнуть я не готова.

– Оставь меня в покое.

– И не подумаю, пока ты мне угля не принесешь. Если то, что я работаю, как мул, не дает мне права жить в тепле, так зачем мне вообще работать? Уж ты-то, небось, и гроша ломаного в дом не принесешь. Если бы мы от тебя одного зависели, так давно бы уж все с голоду померли... – Ее голос ввинчивался прямо в мозг, как ушная боль. – И если ты думаешь, что я собираюсь сама бродить на холоде по путям и уголь собирать, так лучше еще разок мозгами-то пошевели. И мне насрать, как ты мне этот уголь раздобудешь! – В горле у Чолли что-то булькнуло – словно вздулся и лопнул пузырь злости и насилия. А миссис Бридлав все продолжала: – Так ты намерен поднять с кровати свою пьяную задницу и принести мне хоть кусок угля? – Молчание. – Чолли! – Молчание. – Ты сегодня с утра лучше мое терпение не испытывай! Попробуй только хоть словом мне возразить, я тебе, ей-богу, прямо по горлу ножом полосну! – Молчание. – Ну ладно. Ладно. Смотри. Но если я хоть раз чихну, тогда храни Господь твою задницу!

Теперь уже и Сэмми проснулся, но притворялся, что спит.

А Пикола по-прежнему лежала, сильно втянув живот и стараясь не дышать. Всем было прекрасно известно, что миссис Бридлав могла давно уже взять в сарае сколько угодно угля, а может, и взяла уже. Ну, в крайнем случае могла отправить туда Сэмми или Пиколу. Но вечер без ссоры так и повис в воздухе, точно первая нота панихиды в мрачно-выжидательной атмосфере церкви. Очередная пьяная эскапада отца – хоть это и было делом самым обычным – в любом случае должна была завершиться по всем правилам.

Крошечные неразличимые дни, которые проживала миссис Бридлав, идентифицировались, группировались и классифицировались благодаря этим ссорам. Ссоры придавали смысл минутам и часам, которые иначе оставались неясными и в памяти не задерживались. Ссоры оживляли монотонность извечной нищеты и даже придавали некое величие этим пустым мертвым комнатам. Лишь во время этих яростных перерывов в рутине, которые, разумеется, и сами по себе были рутинной, миссис Бридлав могла доказать, что у нее тоже имеется и собственный стиль, и собственное мнение, которые она считала своими исконными чертами. Отнять у нее ежедневную возможность сражаться с мужем означало лишить ее жизнь всякого смысла и интереса. Привычными пьянством, хамством и грубостью Чолли обеспечивал обе их жизни тем необходимым, что делало их терпимыми. Миссис Бридлав считала себя женщиной правильной, истинной христианкой, обремененной абсолютно никчемным мужем, которого по велению Господа ей следует наказывать. (Чолли, разумеется, был безнадежно неисправим, да и вряд ли его исправление было целью миссис Бридлав, ее больше привлекал не Христос-Спаситель, а Христос-Судия.) Зачастую можно было услышать, как она ведет беседы с Господом насчет Чолли, умоляя Его помочь ей «стряхнуть этого ублюдка с вершины его гордыни, которую он сам взрастил и которой вовсе недостоин». А однажды, когда по пьяному делу Чолли так пошатнулся, что чуть не ввалился в раскаленную докрасна печь, она пронзительно завопила: «Возьми его, Господи! Возьми!» С другой стороны, если бы Чолли совсем перестал пить, она бы этого Иисусу никогда не простила. Ибо прегрешения Чолли были ей самой отчаянно необходимы. Чем ниже он опускался, чем более диким и безответственным становилось его поведение, тем выше поднималась она сама, тем благородней становилась ее задача по его «спасению» во имя Господа.

Да и сам Чолли нуждался в ней не меньше. Она была одной из тех вещей, которые были ему отвратительны, но которым он мог, тем не менее, причинить боль одним лишь своим прикосновением. Именно на нее он изливал всю свою невыразимую ярость и неосуществленные

желания. Изливая свою ненависть на нее, сам он мог оставаться целым, невредимым. В ранней юности Чолли не повезло: его застигли в кустах двое белых мужчин, когда впервые от души развлекался с одной деревенской девчонкой. А те двое, видно, решив повеселиться, посветили ему в задницу карманным фонариком. Чолли замер от ужаса. Шутники захихикали, но продолжали светить, приговаривая: «Давай-давай, ниггер. Тебе уж и кончать пора. Ты смотри, кончай хорошенько! А мы полюбуемся». И свет фонарика все продолжал вливаться ему прямо в зад. Как ни странно, ненависти к этим белым мужчинам Чолли не испытывал, зато его душу прямо-таки переполняли ненависть и презрение к той несчастной девчонке. С тех пор даже малейшего напоминания об этом издевательстве – особенно на фоне последовавшей бесконечной череды разнообразных унижений, поражений и приступов собственного отчаянного бессилия, сопровождавших его всю жизнь, – было достаточно, чтобы он начал фонтанировать столь непристойными фантазиями, которые даже у него самого вызывали удивление. Впрочем, удивление они вызывали действительно только у него самого. Никого другого он подобными вещами больше удивить не мог. А сам все удивлялся. Но потом тоже привык.

Чолли и миссис Бридлав ссорились и дрались друг с другом в рамках некоего мрачного, даже зверского кодекса, правила которого можно было сравнить лишь с правилами их занятий сексом. Казалось, они раз и навсегда заключили безмолвное соглашение: ни в коем случае не убивать друг друга. Чолли дрался с женой не по-мужски, а как трусливый мальчишка с более сильным соперником, пуская в ход и ноги, и ладони, и ногти, и зубы. Она же давала ему отпор чисто по-женски – могла запросто запустить в него и сковородкой, и кочергой, а порой ему в голову и плоский утюг летел. Но сражения эти происходили практически беззвучно: они не говорили друг другу ни слова, не стонали, не выкрикивали проклятий. Лишь порой был слышен глухой стук падающих на пол вещей да шлепки плоти о плоть, словно ожидавшей очередного удара.

Дети на бои родителей реагировали по-разному. Сэмми сперва чертыхался, а потом либо, хлопнув дверью, уходил из дома, либо и сам бросался в драку. К четырнадцати годам он прославился тем, что сбегал из дома не менее двадцати семи раз. Однажды он даже до Буффало добрался и целых три месяца там прожил. Возвращался он всегда мрачным – то ли в результате примененной к нему силы, то ли в силу иных обстоятельств. Пикола же, будучи ограничена и более юным возрастом, и половой принадлежностью, пыталась экспериментировать с различными формами терпения и собственной выносливости. Формы эти были различны, но боль оставалась одинаково стойкой и глубокой. И главными в итоге оставались два ошеломляющих желания, которые в ее душе мучительно боролись друг с другом: с одной стороны, ей хотелось, чтобы один из них наконец-то прикончил другого, а с другой – она от всей души стремилась умереть сама. Сейчас, например, она шептала: «Не надо, миссис Бридлав. Не надо». И Пикола, и Сэмми, и Чолли всегда называли родную мать и жену только «миссис Бридлав».

Вот и сейчас Пикола шептала: «Не надо, миссис Бридлав. Не надо». Но миссис Бридлав явно было надо. Тем более она все же чихнула – Господь милосерден, чихнула она всего один раз, однако и этого оказалось вполне достаточно.

Она бегом бросилась на кухню, притащила полную миску холодной воды и выплеснула ее в лицо Чолли. Он тут же сел, задыхаясь и отплеываясь, а потом, совершенно голый, став от холода то ли сизым, то ли пепельным, вскочил с постели и каким-то летучим движением, похожим на футбольный выпад, перехватил жену за талию, и оба грохнулись на пол. Затем Чолли немного приподнял миссис Бридлав и с силой ударил тыльной стороной ладони. Однако она не упала замертво, а осталась сидеть, поскольку ее поддерживала рама кровати, на которой спал Сэмми. Она даже миску, из которой поливала мужа водой, из рук не выпустила. Так что, слегка очухавшись, она принялась колотить этой миской Чолли, стараясь ударить побольнее – по ляжкам, по паху. И только когда ему удалось вскочить, швырнуть жену на пол и поставить ногу ей на грудь, миску она все-таки выронила. А он, опустившись на колени, несколько

раз врезал ей кулаком прямо в лицо; после двух таких ударов она вполне могла и надолго сознание потерять, но ей повезло: в какой-то момент она успела пригнуться, и кулак Чолли угодил прямо в металлическую кроватную раму. Пока Чолли, шипя от боли, баюкал ушибленную руку, миссис Бридлав сумела этим воспользоваться и моментально ускользнула. Да еще и Сэмми неожиданно пришел ей на помощь, хотя до сих пор молча наблюдал за их дракой, притаившись в кровати. Но потом вдруг вскочил и принялся молотить отца по голове обоими кулаками, крича: «Ах ты, голый мудило!» Сэмми так разошелся и с такой яростью колотил отца и выкрикивал ругательства, что миссис Бридлав решила: ну, на этот раз победа точно на ее стороне, и, схватив плоскую печную заслонку, подбежала на цыпочках к Чолли, который как раз пытался подняться с колен, и два раза треснула его этой заслонкой по голове, да так, что он тут же рухнул без сознания, хотя с утра, наоборот, все пыталась его в сознание привести. Чуть отдышавшись, миссис Бридлав набросила на мужа какое-то одеяло и оставила его лежать на полу.

Сэмми отчаянно завопил: «Убей его! Убей!» Миссис Бридлав повернулась к сыну, с удивлением на него посмотрела, спокойно сказала: «Хватит, сынок, прекрати этот шум», пристроила заслонку на место и двинулась в сторону кухни. Однако в дверях все же оглянулась и даже немного задержалась – но лишь для того, чтобы сказать: «Ты бы все-таки вставал, Сэмми. Мне угля принести нужно».

* * *

Теперь наконец-то Пикола могла позволить себе дышать нормально. Она тут же с головой нырнула под одеяло, но тошнота, которую ей до сих пор удавалось как-то сдерживать, сразу же подступила к самому горлу. Но Пикола была уверена, что ее точно не вырвет. «Пожалуйста, Господи, – прошептала она себе в ладошку, – пожалуйста, сделай так, чтобы я исчезла» – и изо всех сил зажмурилась. Она знала, что будет дальше: постепенно мелкие части ее тела начнут исчезать, словно растворяться, – одни медленно, другие почти мгновенно. Один за другим стали исчезать пальцы, затем руки до локтей, затем ступни. Это, пожалуй, было даже приятно. Ноги, например, сразу исчезли все целиком. Гораздо труднее было с бедрами и тазом. Пришлось лежать совершенно неподвижно и как бы выталкивать их из себя. А вот живот исчезать вообще не хотел. Хотя в итоге и он тоже исчез. Затем исчезли грудь и шея. Зато с лицом возникли трудности. Но и с ним все почти получилось. Почти. Остались только ее упрямые, на редкость упрямые глаза. Они всегда оставались – такие они были упрямые.

Как бы Пикола ни старалась, ей никогда не удавалось заставить их исчезнуть. А тогда какой смысл? Ведь именно в них-то все и заключалось. В глазах хранились все картины ее жизни, все лица. Она давным-давно отказалась от мысли сбежать из дома и наполнить глаза новыми картинами и новыми лицами, как это часто делал Сэмми. Но ее он с собой никогда не брал и никогда свой побег заранее не планировал: просто вдруг убегал, и все. Да и не получилось бы из этого ничего. Пока она будет выглядеть, как сейчас, пока так и останется безобразной, ей придется жить с этими людьми. С теми, к числу которых она неким образом принадлежит. Немало часов провела Пикола перед зеркалом, пытаясь открыть тайну этой принадлежности и собственной безобразности, из-за которой в школе на нее либо – в лучшем случае – не обращали внимания, либо откровенно презирали, причем учителя и ученики в равной степени. Она, единственная во всем классе, всегда сидела за двухместной партой одна. В соответствии с первой буквой фамилии, Бридлав, ей полагалось сидеть на одной из первых парт. Она и сидела, но почему-то всегда в одиночестве. Хотя Мэри Апполинер, например, сидела на первой парте с Люком Анжелино. Учителя Пиколу словно не замечали. Они даже не смотрели в ее сторону, а вызывали, только когда обязан был отвечать каждый ученик. А еще Пикола знала: если кому-то из девочек захочется крикнуть тому или иному мальчику

что-то особенно обидное, чтобы уж точно его задеть, ей достаточно завопить во весь голос: «А Бобби любит Пиколу Бридлав! Да-да! Бобби любит Пиколу Бридлав!», и все вокруг тут же начнут ржать, а обвиненный в «любви» к Пиколе будет яростно оправдываться, притворяясь, будто страшно зол.

Некоторое время назад Пиколе пришло в голову, что если бы ее глаза – те самые глаза, которые способны были запоминать столько всяких картин и лиц, – были бы другими, то есть красивыми, то и сама она наверняка стала бы другой. Зубы у нее были хорошие, да и нос ничего себе – во всяком случае, не такой широкий и плоский, как у тех, кого считают самыми умными и привлекательными. Если бы она выглядела иначе, была бы красивой, может, и Чолли вел бы себя по-другому, и миссис Бридлав тоже? Может, они бы даже сказали: «Ты только погляди, какие у нашей Пиколы хорошенькие глазки. Не следует нам драться да ссориться в присутствии девочки с такими хорошенькими глазками».

Хорошенькие глазки.

Красивые голубые глаза.

Большие красивые голубые глаза.

Беги, Джип, беги. Джип бежит, и Алиса бежит.

У Алисы голубые глаза. У Джерри голубые глаза.

Джерри бежит. И Алиса бежит.

Они бегут, и у них обоих голубые глаза.

Четыре голубых глаза. Четыре красивых голубых глаза.

Голубых, как небо.

Голубых – как блузка мисс Форрест.

Голубых – как сияющее великолепной чистотой небо по утрам.

* * *

Каждую ночь Пикола неустанно молила Бога подарить ей голубые глаза. Молила страстно. В течение целого года. И хотя была несколько обескуражена неудачей, но надежды не потеряла. Она понимала: чтобы случилось что-то столь чудесное, нужно много времени и усердия.

И, связав себя убеждением, что красоту ей может дать лишь некое чудо, благодаря которому она освободится от своего врожденного «уродства», она так никогда и не сумеет понять, в чем же ее собственная красота. И будет замечать только то, что и без того постоянно замечает: глаза других людей.

Вот Пикола идет по Гарден-авеню в лавочку, где продаются грошовые сладости. В туфле у нее три пенни – они скользят туда-сюда между носком и стелькой и при каждом шаге больно вдавливаются в ступню. Но это сладкая боль, вполне терпимая, даже желанная, ибо сулит приятную перспективу и полную безопасность выбора. И времени у нее полно – выбирай что хочешь. Пока она идет по Гарден-авеню, она со всех сторон окружена знакомыми, а потому любимыми образами. Вот, например, одуванчики возле телефонной будки. И почему это люди называют одуванчики «сорняками»? Ей, например, эти пушистые цветочки всегда казались очень хорошенькими. Но она часто слышит, как взрослые говорят: «Какой же у мисс Данион двор ухоженный. Ни одного одуванчика!» А женщины в черных шлепанцах ходят, согнувшись, по полю и собирают в корзины одуванчики, но им не нужны их пушистые желтые головки – они рвут только резные листочки и варят из них суп. Их не интересует вино из одуванчиков. Головки одуванчиков такие красивые, только их почему-то никто не любит. Может, потому, что их сразу появляется так много и раньше всех других цветов? И они ужасно сильные!

На обочине отряд одуванчиков пробил трещину в форме буквы Y, а чуть дальше их мощный куст даже бетонную плиту вместе с земляной подложкой приподнял. Пикола часто о нее спотыкалась, если шла пешком, еле волоча ноги. Зато на роликах она преодолевала плиту легко – изломы стерлись от времени, и колесики катились ровно, издавая легкое жужжание. А вот новые дорожки как раз казались Пиколе неудобными, ухабистыми, да и ролики катились по ним с каким-то скребущим звуком.

Эти и другие неодушевленные предметы она часто видела, встречи с ними испытала на собственном опыте – это был ее мир, реальный, хорошо знакомый. Он имел свои незыблемые правила, и эти вещи способны были многое ей объяснить. И в то же время они ей *принадлежали*. Она владела той трещиной, о которую спотыкалась, она владела кустиками одуванчиков, белые головки которых с таким наслаждением «обдувала» прошлой осенью, а этой осенью она с удовольствием высматривала желтые головки новых одуванчиков. Это были ее одуванчики, и обладание ими делало ее частью всего этого мира, а весь мир – частью ее самой.

Пикола поднимается по четырем деревянным ступенькам и открывает дверь в магазин «Свежие овощи, мясо и сладости от Якубовски». Звякает знакомый колокольчик. Стоя перед прилавком, она любуется изобилием разных сластей. На все деньги куплю «Мэри Джейн», решает она. Три штуки за пенни. «Мэри Джейн» – это такая тверденькая карамелька, но если ее рассосать, то внутри окажется чуть солоноватая арахисовая начинка. В душе у Пиколы уже звучит колокольный звон предвкушения. Ставив с ноги башмак, она извлекает из носка три монетки, и в ту же минуту над прилавком нависает седая голова мистера Якубовски. Такое ощущение, словно он с трудом заставил себя отвлечься от собственных важных мыслей и посмотреть на девочку. Какие голубые у него глаза! Но словно туманом подернутые. И взгляд их неторопливо перемещается на нее – так бабье лето незаметно переходит в осень. Его взгляд словно зависает где-то между сетчаткой глаза и объектом наблюдения, словно мистер Якубовски колеблется, не зная, стоит ли ему смотреть на девчущку, стоит ли зря тратить силы, если можно спокойно зависнуть в некой фиксированной и удобной точке времени и пространства. Он Пиколу не замечает, потому что уверен: там и замечать-то нечего. Да и с какой стати пятидесятидвухлетний белый иммигрант, владелец магазина, у которого во рту вкус картошки и пива, а в голове – мысли о Деве Марии с глазами голубки, у которого разум и чувства почти до основания сточены бесконечными трагическими утратами, станет обращать внимание на какую-то чернокожую девчонку, да еще и смотреть на нее в упор?

Ничто в его жизни не предполагало подобного исхода, не говоря уж о том, что он и сам не считал такой исход желательным или необходимым.

– Да? – вяло спрашивает он, и девочка, подняв на него глаза, видит абсолютный вакуум там, где должно было бы обитать любопытство.

Она замечает и еще кое-что: полное отсутствие узнавания человека человеком; эту абсолютную отдельность, словно покрытую глазированной пленкой. Непонятно, думает она, как такие «отсутствующие» глаза вообще могут смотреть в определенном направлении?

Может, это просто потому, что он взрослый мужчина, а она маленькая девочка? Но она не раз видела в обращенных на нее взглядах взрослых мужчин и интерес, и отвращение, и даже гнев.

Однако и это ощущение абсолютного вакуума для нее не ново. У этого вакуума есть предел – где-то там, на его свинцовом дне таится отвращение. Она не раз видела, как это отвращение украдкой мелькает в глазах белых людей. Значит, оно наверняка связано именно с нею, точнее, с ее чернотой. Все внутри у нее так и булькает в предвкушении. Но сама ее чернота совершенно неподвижна. Именно эта ее ужасающая статичность и порождает в итоге в глазах белых тот безнадежный вакуум, на дне которого таится отвращение.

Пикола тычет пальчиком в конфеты «Мэри Джейн». Пальчик маленький, черный, и кончик его плотно прижат к тому месту, где выставлена вазочка с конфетами. Жест совсем необидный – просто робкая попытка черного ребенка что-то объяснить взрослому белому мужчине.

– Этих. – Это слово больше похоже на условный знак, чем на осмысленную часть речи.

– Что? Тебе эти нужны? Эти, да? – Голос продавца хрипит от нетерпения и скопившейся в бронхах слизи.

Пикола мотает головой, упорно прижимая пальчик к тому месту, где, с ее точки зрения, и находится вазочка с «Мэри Джейн». Но Якубовски-то смотрит с другой стороны – ему по-прежнему непонятен ее упрямый жест и раздражает тоненький черный палец, упершийся в одну точку. Своей красной опухшей рукой он беспорядочно шарит внутри стеклянной витрины, и эта красная рука кажется ей похожей на отрубленную куриную голову, которая мечется в ярости, пытаясь вновь обрести утраченное тело.

– Господи, ты что, разговаривать не умеешь?

Наконец его пальцы добираются до пакетиков с «Мэри Джейн», и Пикола радостно кивает.

– Так что ж ты сразу-то не сказала? Тебе сколько? Одну? Ну, говори, сколько?

Пикола разжимает кулачок и протягивает ему на ладонке три пенни. Он швыряет ей три пакетика «Мэри Джейн» – в каждом по три желтеньких квадратика, – но денег с ее ладонки почему-то не берет. Ему явно не хочется к ней прикасаться. А она не решается ни убрать палец правой руки с того места на стеклянной витрине, где стоит вазочка с вожделенными конфетами, ни просто высыпать монетки из левой руки на прилавок. Наконец продавец сам протягивает руку и забирает у нее деньги, нечаянно задев ногтями ее потную ладонку.

Пикола вываливается наружу, охваченная приступом необъяснимого стыда. Она видит перед собой одуванчики. И вся ее любовь стрелой устремляется к ним. Но и одуванчики на нее не смотрят и стрел ответной любви ей не шлют. «Ну и пусть, – думает она, – они же такие безобразные. Они же просто сорняки!» Она настолько поглощена этим внезапным откровением, что спотыкается о хорошо знакомую трещину на обочине. В душе ее так и взрывается гнев, и, пробудившись, он, как щенок, разевает свою жаркую пасть и до последней капли вылакивает весь ее недавний стыд.

Гнев лучше стыда. Гнев всегда обладает неким смыслом. И реальной сущностью. Смыслом и достоинством. И вызывает в душе приятное волнение. Пикола вдруг вновь вспоминает голубые водянистые глаза мистера Якубовски и его насморочный голос.

И потом, гнев никогда надолго не задерживается, он, опять же, как щенок, очень быстро наедается и сразу засыпает. И тогда в душе снова вскипает стыд, мутными потоками просачиваясь в глаза. Что же делать? Как сдержать готовые хлынуть слезы? И Пикола вспоминает о «Мэри Джейн».

На каждом бледно-желтом квадратике есть изображение маленькой Мэри Джейн, именем которой конфеты и названы. Улыбающееся белое личико. Светлые волосы в приятном беспорядке, глаза, естественно, голубые, вокруг – мир абсолютного комфорта и чистоты. Хотя сами глаза Мэри Джейн смотрят дерзко, с затаенной злобой. Но Пикола все равно считает их очень красивыми. Она сует в рот конфету и наслаждается ее сладостью. Ведь в определенном смысле съесть эту конфету значит съесть эти злые голубые глаза, съесть Мэри Джейн. Любить Мэри Джейн и стать ею.

За три пенни она купила себе целых девять моментов наивысшего наслаждения в обществе Мэри Джейн. Той самой красотки Мэри Джейн, именем которой и названы конфеты.

* * *

В квартире над бывшим складским помещением, в котором теперь обитало семейство Бридлав, поселились три шлюхи. Чайна, Поланд⁶ и мисс Мари. Пикола их любила, часто навещала и с удовольствием выполняла всякие их поручения. Ну и они в свою очередь относились к ней без малейшего презрения.

Однажды октябрьским утром – это было то самое утро, когда миссис Бридлав удалось одержать столь блистательную победу с помощью печной заслонки, – Пикола поднялась по лестнице в их квартиру, но и постучаться не успела, как услышала пение. Голос у Поланд был сильный и сочный, как свежая клубника:

У меня в бочонке ни ложки муки,
На кухне ни крошки хлеба,
И в шкафу пустота —
Такая вот красота!
И постель холодна,
Коли спишь ты одна...

– Привет, яблочко в тесте! А носки-то твои где? – тут же спросила у Пиколы мисс Мари.

У нее каждый раз находилось для девочки новое прозвище, причем любовно выбранное из числа самых вкусных и любимых кушаний.

– Здравствуйте, мисс Мари. Здравствуйте, мисс Чайна. Здравствуйте, мисс Поланд.

– Ты что, не слышишь? Где твои носки? Что это ты с голыми ногами, как дворняжка, ходишь?

– Я ни одной пары найти не смогла.

– Да неужели? Значит, у вас в доме кто-то такой завелся, кто очень любит носками полакомиться.

Чайна захихикала. Каждую такую пропажу мисс Мари связывала с появлением в доме большого любителя лакомиться подобными вещами. Она, например, могла с тревогой заявить, что у них в доме явно «завелся какой-то большой любитель бюстгалтеров».

Поланд и Чайна готовились к вечернему выходу. Поланд что-то гладила, напевая себе под нос, а Чайна, сидя на бледно-зеленой кухонной табуретке, как всегда, укладывала себе волосы. Мисс Мари к выходу, разумеется, никогда вовремя готова не была.

Эти женщины относились к Пиколе дружелюбно, но разговаривать их было довольно трудно. Так что девочка всегда брала инициативу на себя и первой заговаривала с мисс Мари, известной болтушкой, – той стоит рот открыть, так ее и не остановишь.

– Как это вышло, что у вас столько разных бойфрендов, мисс Мари?

– Бойфрендов? Бойфрендов?! Душечка-девчущечка, да я вообще ни одного бойфренда с 1927 года не видела!

– Значит, ты их и вообще никогда не видела. – Чайна сунула щипцы для завивки в жестянку с маслом для укладки волос «Нью Нил». От прикосновения к горячему металлу масло громко зашипело.

– Как же так, мисс Мари? – стояла на своем Пикола.

– Ты хочешь знать, как получилось, что я с 1919-го до 1927 года ни с одним мальчиком знакома не была? А все потому, что мальчики тогда исчезли. Просто перестали появляться на свет. Люди тогда стали рождаться уже старыми.

⁶ Китай, Польша (англ.).

– Ты хочешь сказать, что вот тогда-то ты и почувствовала себя старухой, – вставила Чайна.

– Чушь! Старухой я себя никогда не чувствовала и не почувствую. Разве что толстухой.

– Ну, это почти одно и то же.

– Небось, думаешь, раз ты такая тощая, так все тебя молодой считают? А на самом деле люди думают: похоже, эта старая кляча подпрыгну себе купить забыла.

– А ты скоро на маневровый паровоз-толкач похожа будешь.

– Толкач, не толкач, да только твои ножки-клюшки выглядят ничуть не моложе моих!

– Ничего, мои ножки-клюшки себя еще покажут. Их-то в первую очередь раздвигают.

Все три женщины весело рассмеялись, а мисс Мари даже голову назад откинула. Ее смех исходил, казалось, из самых глубин ее существа и звучал, как может одновременно звучать множество полноводных рек, свободно текущих среди илистых берегов и стремящихся к простору открытого моря. Чайна хихикала – словно всхлипывала. Пиколу представлялось, что внутри у Чайны – пищалка со шнурком, за который каждый раз дергает чья-то невидимая рука. Поланд в общих разговорах участвовала крайне редко, только если была сильно пьяна, а смеялась всегда совершенно беззвучно. Трезвая она обычно тихонько напевала себе под нос какой-нибудь блюз, которых знала великое множество.

Накручивая на палец бахрому шарфа, брошенного на спинку дивана, Пикола снова спросила:

– Никого не знаю, у кого бы столько же парней было, как у вас, мисс Мари. Что это они вас так любят?

– А что ж им меня не любить? – сказала мисс Мари, открывая бутылку дешевого пива. – Они знают, что я богата и отлично выгляжу. Вот им и хочется пальцы в мои кудри запустить да до денежек моих добраться.

– А вы богатая, мисс Мари?

– Пудинг ты мой сладенький, у меня есть старая няня-негритянка, так вот она очень богатая.

– Откуда ж у вас нянька? Вы ведь даже на работу не ходите.

– Действительно, – хихикнула Чайна, – где это ты такую денежную няньку раздобыла?

– У Гувера⁷. Он мне ее подарил. Я ему однажды одну услугу оказала. Для Ф.Б. и Р.

– И что ж ты для него сделала?

– Говорю же, услугу ему оказала. Они хотели одного гада поймать, ясно? Его Джонни звали⁸. И уж такой он был гнусный – гнуснее не бывает...

– Это нам известно. – Чайна пристроила очередной локон.

– ...и очень этот Джонни Ф. Б. и Р. нужен был. Он столько народу положил – больше, чем туберкулез! И не дай бог кому поперек него пойти. Да от такого человека одно мокрое место осталось бы. Он бы его вдоль и поперек исполосовал! А я тогда была ловкая, маленькая и очень сообразительная. Не больше девяноста фунтов, даже когда горло как следует промочу.

– Как же это тебе удавалось горло-то как следует промочить? Ты ж у нас и не пьешь почти, – удивилась Чайна.

– Зато ты у нас почти не просыхаешь! И вообще заткнись! Дай до конца поведать эту замечательную историю моей сладенькой девочке, потому что, сказать по правде, одна только я и сумела с ним справиться. Он, например, пойдет и ограбит банк, да еще и несколько человек прикончит, а я ласково так ему говорю: «Ну что ж ты, Джонни, нехорошо так поступать». И он сразу оправдываться начинает: мол, просто хотел мне какой-нибудь подарочек принести. Драгоценные кружева ящиками таскал. И каждую субботу мы брали ящик пива и жарили рыбу.

⁷ Джон Эдгар Гувер (1895–1972), директор ФБР с 1924 года, агент ФБР с 1917 года.

⁸ Мисс Мари имеет в виду Джона Диллинджера (1902–1934), знаменитого американского грабителя и убийцу.

Мы жарили ее на сливочном масле, обмакнув в яйцо и обваляв в муке, – и она получалась, знаешь, вся такая коричневая, но не пережаренная, – а запивали ее вкусным холодным пивом... – У мисс Мари даже взгляд стал масляный от столь чудесных воспоминаний. Собственно, все ее истории в итоге сводились к описанию еды. Пиколо явственно представляла себе, как мисс Мари вонзает зубы в толстенькую спинку морского окуня, покрытую хрустящей корочкой; как ее пухлые пальчики проворно засовывают в рот мелкие кусочки белого горячего мяса, случайно ускользнувшие от ее жадного рта; как она срывает крышку с пивной бутылки и пьет прямо из горлышка, обжигая язык и горло ледяной струей кисловатого пенного напитка. Но для Пиколы этот сон наяву заканчивался гораздо раньше, чем мисс Мари успевала очнуться от воспоминаний.

– А деньги-то как? – спрашивала она. И Чайна заливалась смехом, ухая, как сова:

– Да она вечно все так рассказывает, будто сама и была той Дамой в Красном, что на Диллинджера донесла.

– Ну, к тебе-то Диллинджер и близко бы не подошел! Разве что, охотясь в Африке, случайно принял бы тебя за гиппопотама и подстрелил.

– Ну, этот гиппопо свою пулю в Чикаго получил. Господи, чтоб его девяносто девять раз!

– А почему вы всегда так говорите: «Господи» и какое-нибудь число прибавляете? – Пиколу давно уже хотелось это узнать.

– Потому что моя мама учила меня никогда не ругаться.

– А она тебя не учила, случайно, чтобы ты никогда свои портки не теряла? – поинтересовалась Чайна.

– А у меня их никогда и не было, – спокойно ответила мисс Мари. – Я до пятнадцати лет и портков-то ни разу не видела; я тогда из Джексона уехала в Цинциннати и целыми днями работала. Вот мне белая хозяйка и подарила несколько своих старых. А я сперва решила, что это что-то вроде спортивной вязаной шапки, и напялила на голову, когда пыль вытирала. Она как меня увидела, так чуть от смеху не окочурилась.

– Тогда ты, наверно, совсем еще дурочкой была. – Чайна закурила сигарету и принялась остужать свои железки.

– Так откуда ж мне было знать, как эти штуки носят? – Мисс Мари помолчала. – Да и какой в них смысл, если их то и дело снимать приходится? Дьюи никогда не разрешал мне в них подолгу ходить, чтобы я к ним не привыкала.

– А кто такой Дьюи? – Этого имени Пиколо еще не слышала.

– Кто такой Дьюи?! Да разве ж ты, мой цыпленочек, ни разу не слышала, как я о Дьюи рассказываю? – Мисс Мари прямо-таки потрясла подобная невнимательность со стороны Пиколы.

– Нет, мэм.

– Ну, детка, в таком случае полжизни ты уже пропустила! О господи, сто девяносто пять! А ты, Чайна, все о молодости да о привлекательности долдонишь! Да мне всего четырнадцать было, когда я с Дьюи познакомилась. Мы с ним тогда сбежали и целых три года прожили как муж и жена. Знаешь, цыпленочек, этих первосортных красавцев, которые только и делают, что по подиуму бегают? Так вот, за одну ногу Дьюи Принца таких полсотни легко можно отдать! Боже мой! Как же этот мужчина меня любил!

Чайна пристроила вдоль щеки кокетливый локон и спросила:

– В таком случае чего же он тебя обчистил да удрал?

– Ох, подруга, когда до меня дошло, что за все эти штуки мне и самой могли бы звонкой монетой платить, меня уже ветром качало, перышком можно было с ног сбить.

Поланд засмеялась. Как всегда, беззвучно. Потом сказала:

– Со мной примерно так же было. А в первый раз тетка меня еще и выпорола как следует, когда я призналась, что никаких денег за это не получала, да еще и спросила удивленно: «Какие

деньги, тетя? За что? Он ничего мне не должен». И тетка злобно так бросила: «Черта с два не должен!»

Все три женщины дружно расхохотались.

Три веселых горгульи. Три веселых стервятницы. Их умиляла собственная детская неопытность и неосведомленность. Они не принадлежали к тому поколению проституток, которое было создано авторами великих романов; те обладали большим и щедрым сердцем и всей душой были преданы – разумеется, в связи с некими «ужасными обстоятельствами», – своим мужчинам, ведущим жалкую и бесплодную жизнь и время от времени берущими у женщин скромную сумму денег за «понимание». Не принадлежали они и к категории разумных, но чувствительных юных девиц, которые случайно пошли по кривой дорожке и, угодив в лапы судьбе, были вынуждены культивировать свою внешнюю хрупкость и изящество, дабы хоть как-то защитить себя от дальнейших разрушений, хотя прекрасно сознавали, что родились для лучшей жизни и легко могли бы составить счастье любому достойному мужчине. Эту троицу нельзя было отнести и к тем многочисленным неряшливым, не имеющих ни капли разума проституткам, которые, оказавшись не в состоянии прожить на свой «законный» заработок, начинают приторговывать наркотиками или заниматься сводничеством и тем самым окончательно завершают предначертанную для них схему самоуничтожения, избегая самоубийства лишь в память о каком-то неведомом отце или ради поддержания жалкого существования матери, давно уже безмолвствующей и впавшей в маразм. Если не считать выдуманных мисс Мари историй о ее любви к Дьюи Принцу, у этих женщин не находилось доброго слова ни для кого из мужчин; они ненавидели всех представителей противоположного пола без разбора, не испытывая при этом ни стыда, ни желания извиниться. Они оскорбляли своих посетителей с презрением, ставшим почти машинальным от постоянного употребления. Чернокожие, белые, цветные, пуэрториканцы и мексиканцы, евреи и поляки – абсолютно все были достойны их презрения, все признавались слабаками и уродами, все становились невольными жертвами их почти равнодушного гнева. Зато эти женщины всегда радовались, когда им удавалось обмануть кого-то из клиентов, особенно богатенького. Об одном таком случае в итоге узнал весь город: очаровательная троица заманила к себе денежного еврея, а потом, удерживая его за ноги и за руки, вытряхнула все, что имелось у него в карманах, а самого выбросила из окошка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.